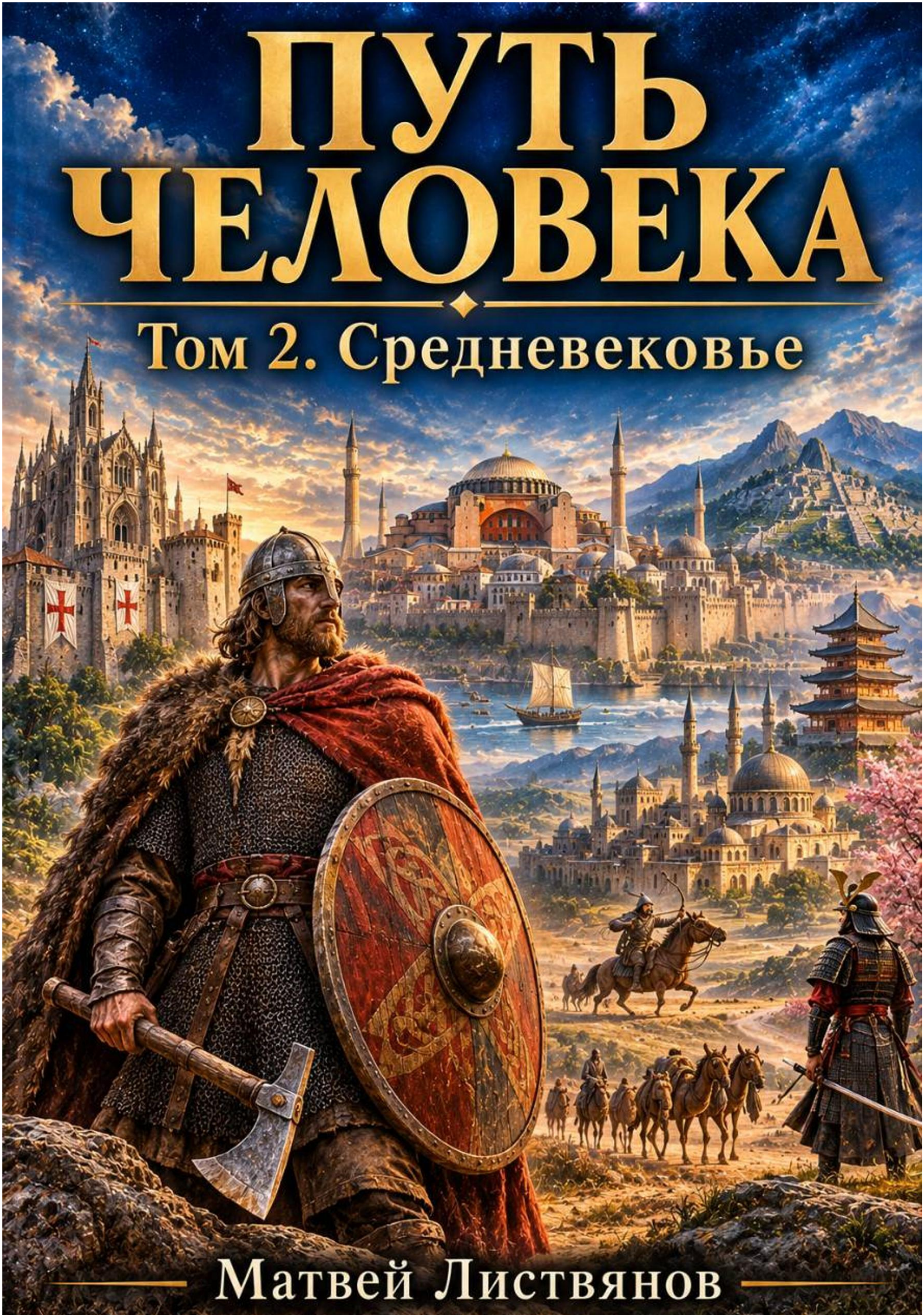
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Том 2. Средневековье



Матвей Листвянов

Матвей Листвянов

Путь человека. Том 2. Средневековье

«Автор»
2026

Листвянов М.

Путь человека. Том 2. Средневековье / М. Листвянов — «Автор», 2026

Двадцать шесть глав, девять цивилизаций — от варяжского гвардейца вКонстантинополе и рыцаря-крестоносца до монаха-переписчика, самурая эпохиКамакура, воина-орла ацтеков и паломника в свите Манса Мусы. Вера здесь — нефон, а стержень эпохи: она определяет статус, труд, войну и саму смерть отЕвропы до Японии и Западной Африки, а кодекс чести и присяга значат больше,чем происхождение. Второй том цикла «Путь человека» — о тысяче лет, в которыемир объяснял себя через священное, и о людях, чья жизнь была подчинена этомуобъяснению целиком.

© Листвянов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Содержание 6
Варяжский гвардеец на службе императора 7
Иконописец в мастерской Константинополя 12
Учёный Дома мудрости в Багдаде 17
Паломник, идущий в Мекку 22
Купец на пути специй в Индийский океан 27
Чиновник, сдающий императорский экзамен 32
Изобретатель, экспериментирующий с ранним порохом 37
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Матвей Листвянов
Путь человека. Том 2. Средневековье

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Том 2. Средневековье

Матвей Листвянов

Содержание

Варяжский гвардеец на службе императора
Иконописец в мастерской Константинополя
Учёный Дома мудрости в Багдаде
Паломник, идущий в Мекку
Купец на пути специй в Индийский океан
Чиновник, сдающий императорский экзамен
Изобретатель, экспериментирующий с ранним порохом
Поэт эпохи Тан
Воин конной армии Чингисхана
Гонец Ямской почтовой службы
Рыцарь-крестоносец на пути в Иерусалим
Монах-переписчик в скриптории монастыря
Лекарь во время эпидемии чумы
Крестьянин на земле сеньора
Кузнец, кующий рыцарские доспехи
Английский лучник при Азенкуре
Воин-орёл ацтеков
Строитель горных дорог империи инков
Жрец на вершине пирамиды Теночтитлана
Паломник в свите Манса Мусы
Золотодобытчик Великого Зимбабве
Мореход, пересекающий Северную Атлантику
Торговец на пути «из варяг в греки»
Самурай эпохи Камакура
Придворная дама эпохи Хэйан
Синтоистский монах в горном святилище

Варяжский гвардеец на службе императора

Торир родился в год, который его отец запомнил не по счёту от Рождества Христова — такой счёт в их краях ещё не был в ходу, — а по тому, что той зимой лёд на Волхове встал поздно и обоз с солью чуть не утонул на переправе. Было это в начале одиннадцатого столетия, в селении на берегу, где река впадала в Ладожское озеро, в дне пути от Старой Ладоги — места, где скандинавские торговцы и местные словене и кривичи давно уже жили бок о бок, роднились и хоронили покойников по одним и тем же обрядам. Отец Торира был норвежцем, в юности пришедшим по варяжскому пути за удачей и осевшим здесь, на перекрёстке рек; мать — из местного рода, говорившего на языке, который сам Торир с детства знал не хуже отцовского. Дом, где он родился, был длинным, на один сруб, с очагом посередине и дымом, уходящим в отверстие кровли; в таких домах зимой держали и скотину, и людей под одной крышей, чтобы было теплее.

Семья не бедствовала, но и знатной не была: отец ходил с ладьями на юг, в Булгар и дальше, к грекам, возил меха — соболя, куницу, бобра, — воск и мёд, привозил серебряные дирхемы и изредка — византийские монеты с ликом далёкого василевса, о котором в этих краях знали только по рассказам бывалых людей. Рождение сына в такой семье обставлялось без особой торжественности: повитуха из соседнего двора, жертва духам очага, имя, данное на девятый день, — имя деда по отцовской линии, как было заведено у норманнов, чтобы род не прерывался. Торир рос третьим ребёнком и первым сыном, и отец с самого начала готовил его себе в спутники для будущих торговых и ратных походов.

Детство у реки означало, что плавать и грести Торир начал раньше, чем читать руны, — а рунам его, впрочем, никто особо и не учил: грамота в их краях была уделом немногих, и то больше для памятных надписей, чем для повседневной жизни. С шести-семи лет он уже помогал на дворе — носил воду, колол лучину, пас немногочисленную скотину; с десяти — выходил с отцом и старшими на ладье в ближние плавания, сперва просто пассажиром, потом гребцом на короткую смену. Рацион детства был простым и зависел от сезона: ячменная и овсяная каша, хлеб из ржаной или ячменной муки пополам с толчёной корой в голодные годы, рыба — вяленая, солёная, свежая смотря по времени года, — молоко и творог летом, мясо редко, больше по праздникам или когда резали скотину на зиму. Мёд и воск предназначались в первую очередь для торговли и обмена, хотя иногда перепадало и детям — в сотах, по капле.

Главным уроком детства было оружие. Отец и его товарищи по торговым походам не расставались с топорами и мечами — путь через пороги Днепра, через земли, где можно было напороться на печенегов, требовал готовности к бою в любой момент. Торира с восьми лет учили держать небольшой топор, с двенадцати — настоящий боевой, рубить чучело из сена и обтянутой кожей колоды, выдерживать удар щитом. Силу в нём видели рано: рослый не по годам, жилистый, он уже в четырнадцать мог тягаться на кулаках со взрослыми парнями и редко проигрывал.

В шестнадцать лет Торир впервые прошёл весь путь целиком — тот самый, что позже на Руси назовут путём «из варяг в греки», а в сагах северных скальдов — Аустрвегом, восточным путём. Ладьи шли вверх по Волхову, через Ильмень, волоком перетаскивались в верховья Днепра — и здесь самая тяжёлая работа ложилась на плечи молодых: лодки выгружали, тащили по брёвнам-каткам через водораздел, грузили заново. Потом вниз по Днепру, мимо Киева, где останавливались на торг и поклон тамошнему князю, и дальше — через пороги, самое опасное место всего маршрута, где суда проводили вручную вдоль берега, а часть людей шла в охранении, потому что именно у порогов чаще всего нападали кочевники. Торир в этом первом походе был гребцом и охранником у товара одновременно — опыт, который в северных дружинах ценился выше любой учёбы.

Самым страшным местом на всём пути были днепровские пороги — семь каменных гряд, где река на протяжении многих вёрст бурлила и прыгала среди валунов так, что ни одна ладья не могла пройти их на вёслах. У самого грозного порога, который северные гости называли Ненасытцем, суда разгружали целиком: товар, оружие и доспехи несли на себе по берегу несколько вёрст, а пустые ладьи либо проводили на канатах вдоль кромки воды, либо, если течение совсем не оставляло выбора, тоже волокли посуху на катках. Именно здесь, по рассказам бывалых купцов, чаще всего и нападали кочевники-печенеги, привыкшие выжидать караваны в этом самом узком и беззащитном месте маршрута; говорили, что несколько лет назад здесь же сложил голову один из киевских князей, возвращавшийся из похода налегке и без охраны. Торир в своём первом походе несколько суток не снимал оружия даже на ночёвке и после порогов испытал облегчение, какого не испытывал прежде ни разу в жизни.

До Константинополя — Миклагарда, Великого города, как его называли на родине, — караван добрался к осени. Город поразил юношу так, как, по рассказам стариков, поражал всех северян впервые: стены, каких не бывает нигде, купол Святой Софии, видный с моря, толпы на улицах, каких не наберётся во всех землях вдоль Волхова разом. Варяги — так греки называли северных наёмников на своей службе, от скандинавского слова, означавшего «давшие клятву», — давно уже составляли известную статью императорского войска. Ещё при князе Владимире, за несколько десятилетий до рождения Торира, из Руси в Константинополь была отправлена большая дружина северных воинов в помощь василевсу; с тех пор поток добровольцев с севера не иссякал. Путь в гвардию был известен и даже отчасти формализован: нужно было явиться к командиру этеирии — так называлось подразделение личной императорской стражи, — доказать воинскую пригодность и внести вступительный взнос. Размер его менялся год от года, но по рассказам бывалых доходил до нескольких фунтов золота — сумма немалая для простого скандинава, и собирали её годами, занимали у родичей, иногда брали в долг у самих же варягов, уже служивших в столице.

Торир такой суммой не располагал. Он остался в городе простым наёмным гребцом и охранником при купеческом подворье, где русские и варяжские торговцы традиционно селились по особому договору с императорским двором, — и три года копил, беря случайные охранные поручения, иногда нанимаясь в менее престижные военные отряды. На двадцатом году жизни он наконец внёс взнос и был принят в варяжскую этерию — элитную личную гвардию византийского императора, составленную почти целиком из скандинавов и русичей, а позже, после норманнского завоевания Англии, пополнявшуюся и беглыми англосаксами.

Служба в гвардии была непохожа на жизнь обычного воина северной дружины. Варяги жили в казармах при Большом дворце, носили на церемониях роскошные одежды — по свидетельствам современников, в праздничные дни гвардейцев наряжали едва ли не богаче иных византийских сановников, — и на людях появлялись с длинными боевыми секирами, которые греки называли «ромейской секирой», хотя оружие это было чисто северным: двуручный топор на длинном топорище, страшный в умелых руках и почти бесполезный для того, кто им не владел с детства.

Будни состояли из караулов у дверей тронного зала и покоев василевса, сопровождения его при выездах из города, охраны сокровищницы и казны. Жалованье платили исправно и щедро по меркам северных земель — в золотых номисмах, монетой, которая ценилась во всём известном мире за стабильность чекана; добавочный доход приносили подарки от императора по большим праздникам и, по обычаю, не вполне законная, но многими поколениями терпимая традиция «полуторасвара» — права гвардии обойти сокровищницу и взять себе всё, что можно унести голыми руками, в момент смены василевса на престоле. Рацион взрослого гвардейца был куда разнообразнее, чем в детстве на родине: пшеничный хлеб, которого на севере почти не видели, оливковое масло, вино вместо браги, рыба Мраморного моря, баранина и козлятина, финики и другие сухофрукты, привозимые с востока империи. Многие варяги со време-

нем отмечали в письмах и памятных надписях на родине, что в Миклагарде «едят хорошо» — свидетельство, дошедшее в том числе через рунические камни, поставленные родичами вернувшихся и не вернувшихся воинов.

Сама казарменная жизнь варягов при Большом дворце была устроена строже, чем на родине привыкли жить свободные дружинники. Смены караула расписывались по часам, за опоздание или пьяный вид на посту полагалось взыскание — вплоть до временного удержания жалованья; оружие и секиры хранились в общей оружейной и выдавались перед выходом на пост, начищенные до блеска, потому что внешний вид гвардии у трона был делом государственного престижа не меньше, чем её боеспособность. Свободное от караулов время варяги проводили за игрой в кости, за выпивкой в харчевнях квартала, где селились выходцы с севера, и за бесконечными разговорами о доме — многие годами не видели родных берегов и знали о переменах на родине только по рассказам новоприбывших. Отдельной статьёй жизни были праздники византийского календаря: на Пасху и в день рождения правящего василевса гвардию выводили в парадном облачении на ипподром и к дворцовым воротам, и зрелище это, по свидетельствам современников, производило на простых горожан не меньшее впечатление, чем скачки колесниц.

Служба включала не только дворцовые караулы, но и участие в походах: варяжские отряды воевали в Болгарии, на Сицилии против арабов, на Кавказе. Торир за годы службы минимум дважды покидал столицу с войском — один раз в сицилийский поход под командованием полководца, которого на родине долго помнили как удачливого и жестокого военачальника, другой — в карательную экспедицию против мятежных провинций на Балканах. В обоих случаях гвардия использовалась как ударная пехота, идущая в бой в сомкнутом строю за стеной щитов, а топоры варягов пробивали вражеские ряды там, где лёгкая византийская кавалерия не могла прорваться. На Сицилии Торир впервые увидел арабский боевой строй, непривычный для северного глаза — лёгких всадников, осыпающих противника стрелами и уклоняющихся от прямого столкновения, — и усвоил урок, который потом пересказывал молодым новобранцам: северный топор хорош против того, кто готов стоять на месте и принять удар, но бессилен против того, кто предпочитает кружить поодаль. В той же экспедиции варяги взяли приступом несколько укреплённых городков на острове, и трофеи с них — оружие тонкой арабской работы, шёлковые ткани, чеканная утварь — пополнили и без того немалое состояние гвардейца.

Дважды за годы службы Торир попадал под начало военачальников, чьи имена на родине потом вспоминали со смесью уважения и горечи: удача одного полководца, под которым служил Торир в сицилийском походе, была так велика, что годы спустя сам он стал претендентом на императорский престол, но был разбит и свергнут — рядовым гвардейцам из этерии подобные взлёты и падения знатных ромеев казались делом привычным и, в общем-то, их не касавшимся: жалованье шло исправно при любом василевсе, и именно эта невозмутимая верность не конкретному человеку, а самой должности императора делала варяжскую гвардию такой ценной для константинопольского двора — наёмники со стороны, не связанные родством или интригой ни с одним из знатных ромейских домов, реже оказывались втянуты в дворцовые заговоры, чем собственная ромейская знать.

Самым ярким днём службы Торира стал не очередной военный поход, а день, когда гвардии пришлось защищать от собственного народа сам престол империи. Весной 1042 года молодой василевс Михаил V, едва укрепившись на троне, решил избавиться от соправительницы — старой императрицы Зои, дочери прежней династии, которую столичная чернь почитала как законную наследницу власти более, чем самого Михаила. Император приказал постричь Зою в монахини и сослать на один из островов. Известие об этом разнеслось по Константинополю в считаные часы и подняло город так, как не поднимало ни одно иноземное вторжение: толпы горожан хлынули к Большому дворцу, требуя вернуть императрицу и низложить узурпатора.

Торир в тот день стоял в карауле у одного из внутренних дворов дворцового комплекса вместе с десятком товарищей по этерии. Приказ, который гвардия получила, был прост и страшен: держать ворота, не впускать толпу внутрь, но и не обнажать оружие первыми — исход дела решала не стража, а сам василевс, чья судьба в эти часы висела на волоске. Торир своими глазами видел, как толпа разбирала на камни мостовую, как в дворцовые стены летели обломки, как несколько смельчаков из черни попытались вскарабкаться на внешнюю ограду и были отброшены без кровопролития — ромеи понимали, что варяги способны изрубить нападающих в считаные минуты, и предпочитали не искушать судьбу.

К исходу дня стало ясно, что Михаил V проиграл: сановники и сам патриарх перешли на сторону толпы, императрицу Зою спешно вернули из ссылки и вывели к народу на балкон, показав, что она жива и свободна. Узурпатор бежал из дворца и укрылся в монастыре, но толпа настигла его и там; в итоге его ослепили — обычное для Византии наказание низложенным правителям, лишавшее их возможности вновь претендовать на трон, поскольку увечный, по византийским представлениям, не мог быть василевсом. Варяжская гвардия в эти дни не стала ни спасительницей Михаила, ни орудием его гибели — она осталась тем, чем была по сути своей роли: стеной, охранявшей порядок там, где её поставили, без оглядки на то, кто в итоге окажется у власти. Для Торира этот день стал первым настоящим напоминанием, что служба императору — это служба трону, а не человеку, который на нём сидит, и трон этот в Городе меняет хозяев куда чаще, чем на родине меняются конунги.

Уставы этерии не одобряли, чтобы гвардейцы обзаводились постоянными семьями в черте дворцового комплекса, хотя прямого запрета на женитьбу не существовало, и многие варяги брали в жёны гречанок из столичных кварталов или женщин из купеческих семей своих же земляков, осевших в Константинополе. Торир, однако, был из тех, кто с самого начала служил не ради того, чтобы осесть на чужбине, а ради того, чтобы разбогатеть и вернуться — такое намерение разделяли многие северяне, и в сагах подобных людей называли «грекоходцами», теми, кто побывал в Миклагарде и вернулся с честью и добычей. Прямой связи с женщиной в годы службы он не оставил, кроме мимолётных знакомств, какие случаются у любого молодого наёмника вдали от дома; жениться он решил твёрдо только на родине.

После пятнадцати лет службы, скопив достаточно золота — часть в монете, часть в виде драгоценной утвари и оружия, которое на Руси и в северных землях ценилось едва ли не дороже самого металла, — Торир испросил у командира этерии разрешения оставить службу, что для ветеранов было делом обычным и не возбранялось: многие гвардейцы уходили по возрасту или по накоплении достаточного состояния, уступая место новым людям с родины. Он вернулся в земли у Ладоги уже немолодым, но ещё крепким мужчиной за тридцать, и взял в жёны дочь соседнего торгового рода, девушку из той же смешанной норманно-славянской среды, что и он сам. У них родилось четверо детей, из которых до взрослых лет дожили трое — обычное для того времени соотношение, при котором даже в зажиточной семье смерть ребёнка в первые годы жизни не была редкостью.

На привезённое из Византии золото Торир выстроил себе двор побогаче отцовского, завёл торговлю мехами уже как хозяин, а не как наёмный гребец, и несколько раз в год принимал в своём доме других вернувшихся «грекоходцев» — таких же бывших гвардейцев, с которыми было что вспомнить и с кем сравнить рассказы о Городе, какого никто из местных жителей, кроме них, никогда не видел. Двое его сыновей тоже позже отправились варяжским путём на юг — один вернулся через несколько лет с добычей, другой не вернулся вовсе, и о его судьбе в семье ничего толком не узнали, кроме смутных слухов о гибели где-то на днепровских порогах.

Сам Торир дожил до преклонных по меркам своего времени лет — считается, что перевалил за шестой десяток, — и умер зимой, от хвори, которую домашние не умели толком назвать, но которая началась с лихорадки и кашля и за несколько недель свела крепкого старика

в могилу. Хоронили его уже по христианскому обряду — крещение к тому времени прочно укоренилось в этих землях, — но в могилу, по старому обычаю, положили и памятную вещь с чужбины: небольшой бронзовый образок византийской работы, какие гвардейцы нередко привозили домой как знак пройденной службы. Подобные находки — украшения, оружие, монеты византийской чеканки — археологи веками потом будут поднимать из курганов и погребений вдоль всего пути из варяг в греки, а в Скандинавии и по сей день стоят десятки памятных камней с рунической надписью о том, что похороненный «умер в Греции» или «ходил на восток, в Грецию», — безымянное для истории, но осязаемое свидетельство того, что путь, пройденный Ториром, был пройден тысячами таких же людей до и после него.

Иконописец в мастерской Константинополя

Никифор родился в квартале ремесленников неподалёку от форума Константина, там, где узкие улицы спускались к Золотому Рогу и где с рассвета до заката не смолкал стук инструментов — в этом районе испокон веку селились резчики, маляры, позолотчики и иконники, передававшие ремесло из поколения в поколение внутри одних и тех же семей. Отец его был иконописцем в третьем поколении, достаточно известным в своём квартале, чтобы получать заказы не только от приходских церквей, но изредка и от состоятельных горожан, желавших иметь домашний образ работы признанного мастера. Семья жила небогато, но без нужды: заказ на большую храмовую икону кормил дом месяцами, а мелкие образа для домашнего молитвенного угла писались и продавались почти непрерывно.

Роды у матери Никифора принимала соседка-повитуха, как это было заведено у простых горожан; крещение совершили на восьмой день в приходской церкви квартала, и имя дали в честь деда, недавно умершего мастера, чью кисть отец Никифора поминал с нескрываемой почтительностью. С рождения мальчика окружали запахи мастерской — левкаса, растёртого в порошок мела на рыбьем клею, яичного желтка, растворителей для олифы, — и эти запахи, по его позднейшим собственным словам, он не переставал любить до конца своих дней.

Детство ремесленного подростка в Константинополе было устроено просто: до семи лет — игры и помощь матери по дому, а дальше — работа. С восьми лет Никифор уже проводил в отцовской мастерской большую часть дня: растирал пигменты в каменной ступке до тонкости пудры, разводил яичную эмульсию, мыл кисти, выносил сор. Отдельным и самым нелюбимым его детским занятием была варка рыбьего клея для левкаса — вонючая и долгая работа, которую в семье традиционно поручали младшим: рыбьи пузыри и обрезки кожи вымачивали, затем долго кипятили на медленном огне, снимая пену, пока вонь не выстаивалась на полдома, а мать, по собственным позднейшим воспоминаниям Никифора, неизменно в такие дни распахивала все ставни и ворчала на отца за то, что тот развёл в приличном доме «кожевенную мастерскую». Другим постоянным поручением было толчение мела для грунта: мальчик часами сидел над ступкой, превращая комья привозного мела в мельчайшую пудру, от которой к концу дня руки и одежда белели так, что соседские дети прозвали его «мучным мальчишкой», хотя к муке это прозвище не имело никакого отношения. Школьной грамоте мальчика учил приходской чтец при той же церкви, где его крестили: читать по Псалтири и писать уставом — минимум, достаточный для ремесленника его круга, которому предстояло работать не столько со словом, сколько с образом.

Рацион детства в ремесленной семье столицы был скромным, но куда разнообразнее, чем в сельской местности: пшеничный хлеб вместо грубого ячменного, оливки и оливковое масло, рыба с рынков у бухты — свежая и солёная, бобовые похлёбки, сыр, изредка мясо по праздникам. Водой из городских акведуков и цистерн Константинополь снабжался исправнее многих городов тогдашнего мира, и это тоже было частью привычной, не замечаемой самим ребёнком роскоши столичной жизни.

Собственно иконописному ремеслу Никифора начали учить всерьёз с двенадцати лет, и учение это растягивалось на долгие годы, устроенное по строгой иерархии задач. Подмастерье начинал с левкаса — грунтовки доски, которую нужно было наложить в несколько слоёв мела на клею и отполировать до гладкости кости, прежде чем на неё ляжет хоть одна линия рисунка. Затем — прорись: перевод образа с готового образца, так называемого подлинника, тонкой линией, которую позже уверенным движением обводили чернилами. Самым долгим этапом ученичества было письмо одежд и фона: охры, разбелённые в несколько тонов, накладывались слоями от тёмного к светлому, создавая объём ткани без единого мазка, который выдавал бы индивидуальную манеру художника, — византийский канон требовал, чтобы рука мастера

была незаметна, растворена в традиции, уходящей корнями к самым первым иконописцам, по преданию — к евангелисту Луке, написавшему будто бы первый образ Богоматери с натуры.

Лишь спустя годы, доказав твёрдость руки и понимание канона, подмастерье допускался к письму ликов и обнажённых частей тела — рук, стоп, — самой тонкой и ответственной работе, требовавшей послойного наложения так называемого санкиря, тёмно-зелёной или оливковой основы, поверх которой чистыми охрами постепенно высветлялись черты лица, пока из тёмного пятна не проступал узнаваемый святой образ. Отец не торопил сына: Никифор написал первый самостоятельный лик только в девятнадцать лет, после семи лет подготовительной работы, и этот образ — Иоанна Предтечи для небольшой приходской церкви — отец осмотрел долго и придирчиво, прежде чем кивнуть и сказать, что работа может идти заказчику. Никифор запомнил этот день лучше, чем собственную свадьбу: отец взял доску в руки, долго вертел её на свету у окна, проверяя, нет ли резкости в переходах тонов, которая выдавала бы неопытную руку, а затем, не говоря ни слова похвалы, молча отложил икону в сторону заказов, готовых к выдаче, — и этого молчания, по словам самого Никифора, было достаточно, чтобы понять: он стал мастером.

Отдельной и обязательной частью подготовки были золочение и работа с сусальным золотом: тончайшие листы золотой фольги, выбитой особыми мастерами до толщины в несколько сотых долей волоса, накладывались на нимбы, фоны и детали одежд через слой клеевого левкаса особого состава — полимента, подкрашенного красной или жёлтой охрой так, чтобы она просвечивала сквозь тончайшие огрехи сусали и не выдавала голого грунта. Золото на икону клали как символ божественного, негасимого света, далёкий от обычного мирского украшения; работа эта требовала безветренной комнаты и твёрдой, без единого дрожания, руки — порыв воздуха мог погубить целый лист драгоценного металла.

Отец не уставал напоминать сыну, почему канон так строг и почему уклонение от образца считалось в их ремесле делом благочестия, в котором собственному вкусу мастера попросту не было места. Прадед Никифора ещё застал последние десятилетия долгого спора об иконопочитании, когда императоры-иконоборцы на протяжении жизни нескольких поколений то запрещали писать священные образы вовсе, видя в них идолопоклонство, то вновь дозволяли их после восстановления почитания икон в середине девятого века. Мастерские, подобные отцовской, в те десятилетия либо вовсе закрывались, либо тайно переходили на письмо светских сюжетов и орнаментов, чтобы не потерять ремесло и не навлечь гонений. Память об этом времени в семье иконописцев была жива даже спустя поколения: именно страх перед новым витком споров о дозволенном и недозволенном в священном образе, по убеждению отца, и породил ту самую непреклонную строгость канона, в которой Никифора растили, — чем точнее мастер повторял утверждённый извод, тем меньше повода давал он усомниться в богословской благонадёжности своей работы.

К тридцати годам Никифор вёл дело наравне с отцом, а после его смерти принял мастерскую целиком, с двумя подмастерьями и постоянным потоком заказов от приходов квартала, от монастырей в окрестностях города и временами — от частных лиц, желавших заказать домашний образ покровителя семьи. Рабочий день начинался с рассветом и длился, пока хватало дневного света: писать по канону полагалось при естественном освещении, а при свечах позволялось лишь готовить материалы или заниматься левкасом. Пигменты мастерская закупала у перекупщиков, приходивших с товаром с Востока и из далёких земель: киноварь, охры разных оттенков, зелёную глауконитовую землю, драгоценный ультрамарин из лазурита, который везли караванами через половину известного мира из рудников за пределами персидских земель и который стоил дороже иных красок в десятки раз, так что его берегли для самых важных деталей — мафория Богородицы, плащей особо почитаемых святых.

Взрослый рацион Никифора мало отличался от детского, разве что стал обильнее: хлеб, оливки, рыба, вино, разбавленное водой по обычаю, изредка мясо — баранина или козлятина

по праздникам, овощи и бобовые в пост, которых в церковном календаре набиралось едва ли не треть года, а иконописцы, работавшие для церкви, соблюдали посты особенно тщательно, полагая, что нечистая по постному закону пища может осквернить руку, пишущую святой образ. Будни были монотонны и наполнены кропотливым трудом: неделями мог тянуться один заказ — большая храмовая икона или, тем более, роспись части иконостаса, — и за эти недели мастер проводил за доской по десять-двенадцать часов в день, прерываясь лишь на еду и молитву.

Ремесленники квартала держались друг друга тесно, хотя оформленного цехового устава наподобие позднейших западноевропейских гильдий в Константинополе не существовало: порядок торговли и ремёсел в городе издавна регулировался городским эпархом через особую книгу уставов, предписывавшую, кому где торговать и по каким ценам продавать товар, а соседство иконников, резчиков и позолотчиков в одном квартале сложилось скорее по обычаю и удобству совместной работы, чем по формальному закону. Самым строгим надсмотрщиком за качеством и правильностью письма оставался не эпарх, а приходской клир: именно священник, принимавший готовый заказ для своей церкви, мог потребовать переписать лик, если находил его недостаточно строгим или слишком похожим на живого человека, — а бывало и так, что заказчик из простых горожан, напротив, тайно просил мастера придать святому чуть больше сходства с умершим родственником, в чью память заказывалась икона, и Никифор, как и его отец до него, умел в таких случаях слегка, в пределах дозволенного каноном, подстроить черты лика, не нарушая общего извода.

Самым памятным эпизодом взрослой жизни Никифора стала работа над большим образом Богоматери для нового храма, заказанным состоятельным константинопольским сановником в благодарность за избавление семьи от морового поветрия. Заказ был почётным и щедрым, а икона — самой крупной из всех, что Никифор когда-либо писал: доска в два локтя высотой, богато вызолоченный фон, драгоценные каменья, вделанные заказчиком в оклад после завершения письма. Работа шла месяцами, и мастер довёл её почти до конца — оставалось положить последний слой золота на нимб и завершить тончайшую разделку складок мафория, — когда однажды в разгар дня земля под мастерской вздрогнула.

Константинополь, стоявший на линии разломов, регулярно сотрясали землетрясения, иные из которых валили колокольни и обрушивали целые кварталы; то, что случилось в день Никифора, оказалось не самым сильным из известных городу потрясений, но вполне достаточным, чтобы с полок посыпались горшки с пигментом, затрещали стропила мастерской и подмастерья с криком бросились к выходу. Никифор в этот момент держал в руках подушечку с разложенным на ней сусальным золотом, готовясь к нанесению, и доска с почти законченной иконой стояла на мольберте прямо перед ним. Вместо того чтобы бежать, он в первое мгновение инстинктивно накрыл телом мольберт, оберегая и доску, и драгоценный металл от падающей со стропил пыли и мелких обломков штукатурки, и лишь когда первый, самый сильный толчок прошёл, вынес икону на руках во двор, где уже стояли в страхе соседи.

Повторных сильных толчков в тот день не последовало, стены мастерской выдержали, хотя трещина прошла через весь фасад соседнего дома, а у церкви в конце улицы обрушилась часть кровли притвора, и несколько дней спустя по городу уже ходили слухи о погибших в других кварталах. Когда пыль осела, Никифор обнаружил, что часть сусального золота всё же осыпалась с подушечки и, смешавшись с меловой трухой на полу, оказалась безнадёжно утрачена; пришлось посылать подмастерье за новым листом к позолотчику в двух улицах от мастерской и ждать два дня, прежде чем работу можно было продолжить. Эти два дня простоя мастер провёл, восстанавливая расшатавшийся мольберт и проверяя, не дал ли левкас трещин от сотрясения, — трещина на грунте под слоем краски могла проступить лишь много месяцев спустя, исподволь испортив готовую икону без видимой причины, и подобную порчу мастер боялся едва ли не больше, чем само землетрясение.

Заказчик, узнав о случившемся, счёл спасение почти законченного образа добрым знаком и после завершения работы щедро одарил мастера сверх уговора. Сам же Никифор впоследствии редко рассказывал об этом случае как о собственном подвиге: по его словам, он в тот момент не думал ни о себе, ни о доске как таковой, а лишь о том, что образ, которому только предстояло обрести лик Богородицы, нельзя было оставить на волю случая, — мысль, которая для мастера его школы была не красивым оборотом, а почти буквальной верой в святость незавершённого ещё дела.

Женился Никифор поздно по меркам своего ремесленного круга — к двадцати пяти годам, уже будучи признанным подмастерьем с устойчивым заработком, что в среде городских ремесленников считалось разумной осторожностью: жениться раньше, не имея твёрдого дохода, значило обречь молодую семью на нужду. Жену ему подыскала мать среди дочерей соседних ремесленных домов — девушку из семьи резчика по дереву, работавшего над иконостасными преградами и рамами для тех же икон, которые писал Никифор, так что породнение двух ремёсел было для квартала делом обычным и взаимовыгодным. У них родилось пятеро детей, трое из которых пережили младенчество; старший сын с детства был определён в ту же мастерскую, на то же место у ступки с пигментами, с которого когда-то начинал сам Никифор.

Иконописное ремесло в Византии той эпохи оставалось делом мирян, а не монахов — распространённое позднее представление об иконописце непременно как о монахе-отшельнике сложится больше в поздние века и в иных землях; в Константинополе же мастерские были обычными семейными предприятиями наравне с мастерскими ювелиров или оружейников, и передача дела от отца к сыну была самым естественным порядком вещей. Две дочери Никифора, не унаследовавшие ремесла по той простой причине, что женщин к письму икон на продажу не допускали, были выданы замуж за сыновей соседних ремесленных домов — одна за подмастерье резчика, другая за сына позолотчика, с которым мастерская Никифора вела дела не один десяток лет, — так что весь квартал оставался, по сути, большой разросшейся сетью породнённых друг с другом семей одного ремесленного круга, где новости о заказах, ценах на пигменты и слухи о придворных делах расходились быстрее, чем по любому иному городскому кварталу.

К старости зрение Никифора, как и у многих иконописцев его поколения, ослабело настолько, что тончайшую разделку ликов он уже не мог выполнять сам, и передал эту часть работы старшему сыну, оставив за собой общее руководство мастерской, выбор композиции и надзор за качеством левкаса и золочения — работу, для которой острота глаз была не так важна, как многолетний опыт. Последние годы он всё чаще проводил за составлением и копированием подлинников — образцовых прорисей, по которым писались новые иконы, — словно сознательно готовя для сына и будущих поколений мастерской тот же инструмент, которым когда-то пользовался сам.

В последний год жизни Никифор почти ослеп окончательно и различал на доске лишь крупные цветовые пятна, но продолжал приходить в мастерскую каждый день — садился у окна, слушал, как сын и внук переговариваются над левкасом, и временами вмешивался одним-двумя словами, поправляя пропорцию или напоминая забытую подробность извода, которую сам когда-то перенял от собственного отца. Домашние вспоминали, что в эти месяцы он особенно часто просил читать ему вслух Псалтирь — ту самую книгу, по которой полвека назад учился грамоте у приходского чтеца, — и что вслушивался в неё теперь, по его собственным словам, совсем иначе, чем в молодости, — как в подведение итога всей прожитой жизни.

Умер Никифор зимой, в собственном доме, в окружении семьи, от слабости, которую современники назвали бы просто старческой немощью, — ему было, по приблизительным прикидкам родных, около семидесяти лет, возраст почтенный и редкий для той эпохи. Похоронили его на приходском кладбище той же церкви, где крестили, а мастерскую унаследовал старший сын, продолживший писать иконы в том же каноне, той же техникой санкиря и охряных плавей,

что и три поколения мастеров до него. На поминальной трапезе, как рассказывали потом внуки, собрался едва ли не весь квартал — резчики, позолотчики, соседи-ремесленники, с которыми семья Никифора была связана десятилетиями совместных заказов и породнений, — и каждый считал долгом вспомнить какую-нибудь особенно удавшуюся мастеру икону, сходство лика с живым человеком или особо тонкую разделку складок, которую сам Никифор когда-то объяснял ему за работой.

Ни на одной из десятков икон, написанных руками Никифора за полвека труда, не стояло его имени — византийский канон не признавал авторства в том смысле, в каком его понимали бы столетия спустя: икона была не произведением мастера, а окном в иной мир, и чем менее заметной оставалась в ней личная рука, тем вернее она служила своему назначению. Сегодня в музейных собраниях и церковных ризницах хранятся безымянные константинопольские иконы той эпохи, атрибутируемые исследователями лишь по манере письма, по особенностям разделки складок или характерному оттенку санкиря — и среди них, не опознанные и не подписанные, наверняка есть и те, что вышли из-под руки Никифора.

Учёный Дома мудрости в Багдаде

Ильяс родился в христианской семье сирийского обряда в городке неподалёку от бывшей столицы персидских царей, в землях, где со времён державы Сасанидов существовала давняя традиция учёности, переданная через знаменитую некогда академию Гундишапура — там персидские шаханшахи столетием раньше собирали греческих, сирийских и индийских врачей и философов, спасавшихся от преследований в собственных землях. К тому времени, когда родился Ильяс, уже много поколений как халифат признавал за христианами и иудеями, как и за зороастрийцами, статус «людей Писания» — общин, которым дозволялось исповедовать свою веру и вести дела внутри своей общины при условии уплаты особого подушного налога и соблюдения ряда ограничений, не касавшихся, впрочем, научных и врачебных занятий.

Отец Ильяса был врачом и, как многие врачи сирийской общины, свободно читал по-гречески — язык античной медицины и философии, который в их роду передавался из поколения в поколение вместе с ремеслом вместе с сирийским переводом трудов Галена и Гиппократа. Роды принимала повитуха общины, младенца на восьмой день окрестили в местной несторианской церкви, и имя дали в честь деда по материнской линии, тоже сведущего во врачевании человека. Семья жила зажиточно по меркам провинциального городка: отцовская врачебная практика кормила дом безбедно, а дом был полон свитков и книг — редкость и признак достатка в эпоху, когда переписанная рукопись стоила дорого, а труд писца оплачивался не менее щедро, чем труд искусного ремесленника.

С малых лет Ильяса учили грамоте сразу на трёх языках: сирийском — родном языке дома и церкви, арабском — языке власти и повседневного торгового обихода, постепенно вытеснявшем все прочие в улицах и на рынках халифата, и греческом — языке учёных книг, которые отец держал в доме и к которым сам приобщался в детстве через отцовские уроки по вечерам. Учение начиналось с заучивания псалмов и молитв на слух, затем — с письма тростниковым калямом по глиняной табличке, покрытой тонким слоем воска, пока рука не окрепнет для письма чернилами по пергамену или бумаге — последняя как раз в эти десятилетия стремительно распространялась по халифату, придя через пленных китайских мастеров, захваченных после битвы на реке Талас и научивших новому ремеслу самаркандских умельцев; бумага была куда дешевле пергамена и быстро вытесняла его в повседневном обиходе переписчиков.

Детский рацион в семье врача был разнообразнее, чем у простого земледельца: пшеничный хлеб, финики, которых в этих краях выращивали в изобилии, рис, привозимый из восточных областей халифата, баранина по праздникам, овощи и бобовые, щедро приправленные специями, которые через персидское и индийское влияние прочно вошли в кухню образованных семей. С десяти лет Ильяс начал помогать отцу в приёме больных — подавать инструменты, записывать под диктовку назначения, а в свободное время переписывал для отца отрывки из греческих медицинских трактатов, упражняясь одновременно в каллиграфии и в языке. Отец придерживался метода, усвоенного ещё от собственного учителя из гундишапурской традиции: прежде чем доверить сыну толкование текста, его заставляли месяцами просто копировать чужой почерк, добиваясь, чтобы линия букв — что сирийских, что арабских, что греческих — ложилась ровно и уверенно, без раздумий над каждым знаком. Считалось, что нетвёрдая рука выдаёт нетвёрдое знание, и больной, платящий врачу за рецепт, должен видеть перед собой запись, достойную доверия на вид не меньше, чем по существу.

Отдельным предметом детского обучения было заучивание наизусть — способ передачи знания, привычный для культуры, где книги оставались дорогой редкостью даже в зажиточном доме. К двенадцати годам Ильяс помнил наизусть десятки афоризмов Гиппократа на греческом и их сирийские переложения, мог по памяти перечислить основные категории Аристотелевой логики, хотя смысл многих из них по-настоящему открылся ему лишь годы спустя. Такая

заученная «путеводная нить» давала ему, по позднейшим словам самого учёного, возможность ориентироваться в сложном тексте ещё до того, как он успевал вникнуть в него разумом, — качество, которое в зрелые годы не раз выручало его при разборе спутанных, попорченных временем рукописей.

В пятнадцать лет Ильяс вместе с отцом перебрался в Багдад — город, выстроенный за несколько десятилетий до того халифом аль-Мансуром как круглая столица новой династии и успевший за это время превратиться в один из крупнейших городов известного мира. При дворе халифа аль-Мамуна, взошедшего на престол в начале девятого века, учёные занятия получили невиданное прежде покровительство: халиф, сам увлечённый философией и астрономией, учредил и щедро финансировал особое учреждение, получившее название Байт аль-Хикма — Дом мудрости, — куда свозились рукописи со всего известного мира и где трудилась целая армия переводчиков, переписчиков, математиков и астрономов.

Ильяс поступил в Дом мудрости не сразу и не на первую ступень: несколько лет он числился помощником при одном из старших переводчиков, сирийце по происхождению, как и он сам, прославленном переложении на арабский трудов Аристотеля и Галена. Работа помощника заключалась в сверке черновых переводов с оригиналом, в подготовке писчего материала, в розыске нужных мест в многотомных греческих рукописях — труд кропотливый, требовавший не меньшей учёности, чем собственно перевод, поскольку ошибка в сверке могла стоить месяцев напрасной работы переписчиков. Лишь доказав свою надёжность и знание языков, Ильяс получил право на самостоятельный перевод — сперва небольших трактатов по медицине, затем всё более сложных текстов по натурфилософии и математике.

Метод перевода, принятый в Доме мудрости, часто предполагал промежуточное звено: многие греческие тексты попадали в руки арабских учёных уже через сирийский перевод, сделанный столетиями раньше христианскими книжниками для нужд собственной общины, и задача переводчика нередко состояла в сверке такого сирийского извода с уцелевшим греческим оригиналом — там, где он вообще сохранился, — и в создании нового, арабского текста, который должен был сохранить не только смысл, но и строгость терминологии, пригодной для дальнейшего научного использования. Ильяс, выросший на трёх языках разом, оказался для такой работы находкой: он мог сверять сразу все три версии текста, не прибегая к помощи сторонних толкователей.

К тридцати годам Ильяс стал одним из постоянных штатных переводчиков Дома мудрости, получая жалованье от казны и дополнительные выплаты за отдельные завершённые труды. По преданиям, ходившим среди учёных того поколения, щедрость халифа аль-Мамуна к переводчикам была такова, что иным особо ценным трудам платили золотом по весу самой рукописи — предание это, конечно, скорее отражает дух эпохи, чем документированный факт, но зерно истины в нём, несомненно, было: покровительство учёности при дворе аль-Мамуна и в самом деле не знало скупости, и успешный переводчик мог рассчитывать на безбедную жизнь, недоступную большинству ремесленников его круга.

Будни Ильяса делились между залом для занятий, библиотекой со свитками и книгами, свезёнными со всего халифата и из земель, лежавших за его пределами, и собственным домом, где он продолжал работу по вечерам при масляном светильнике. Рацион взрослого учёного в Багдаде включал пшеничный и ячменный хлеб, рис с пряностями, баранину и птицу, финики, сладости на меду и тростниковом сахаре, фрукты из окрестных садов, орошаемых разветвлённой системой каналов от Тигра и Евфрата, — Багдад в ту эпоху снабжался продовольствием исправнее почти любого другого города мира, а рынки его поражали приезжих изобилием товаров со всех концов известной земли, от китайского шёлка до занзибарской слоновой кости.

Работа переводчика требовала не только знания языков, но и понимания самого предмета: перевести трактат по медицине, не разбираясь в анатомии и в системе гуморальной теории Галена, было невозможно без грубых искажений смысла; перевести труд по геометрии —

без понимания самой геометрии. Поэтому учёные Дома мудрости редко были узкими специалистами в современном смысле слова: Ильяс наравне с переводами занимался собственными медицинскими наблюдениями, вёл записи о пациентах, которых продолжал принимать по примеру отца, и участвовал в диспутах, которые при дворе аль-Мамуна проводились регулярно между представителями разных вероисповеданий и философских школ — редкая по тем временам практика открытого спора, в котором участвовали мусульманские богословы, христианские священники, иудейские раввины и даже представители персидских дуалистических учений, причём, по свидетельствам современников, сам халиф нередко присутствовал на таких диспутах и поощрял участников говорить свободно, без страха за сказанное.

Само здание Дома мудрости, по описаниям современников, объединяло под одной крышей библиотеку с множеством отдельных хранилищ для рукописей на разных языках, просторный зал для переписчиков, где десятки писцов день за днём трудились над копированием готовых переводов для дальнейшего распространения, и обсерваторию неподалёку, где другая группа учёных вела наблюдения за движением светил, сверяя их с данными индийских и греческих астрономических таблиц. Ильяс нередко задерживался там дольше положенного часа, разглядывая приборы астрономов — астролябии тончайшей работы, квадранты для измерения высоты светил, — хотя сам занимался преимущественно медицинскими и философскими текстами, а не математикой небес. Главный хранитель библиотеки, пожилой перс, принявший ислам, но сохранивший глубокое уважение к доисламской учёности своего народа, по старой памяти позволял переводчикам задерживаться в хранилище допоздна, если того требовала срочность заказа, — редкая по тем временам привилегия, которой Ильяс пользовался не раз, трудясь при свете масляного светильника над особо сложным местом текста, пока сторож не напоминал, что пора гасить огонь.

Самым памятным событием в жизни Ильяса стало участие в посольской миссии, отправленной халифом аль-Мамуном в пределы Византийской империи с особой целью: получить доступ к греческим рукописям, хранившимся в библиотеках ромейских городов, и снять с них копии для нужд Дома мудрости. Подобные посольства, как известно по сохранившимся свидетельствам арабских историков, действительно отправлялись в правление аль-Мамуна, воспользовавшегося периодами временного перемирия между халифатом и Византией, чтобы договориться с василевсом о передаче или копировании части греческого научного наследия — даже притом что между двумя державами то и дело вспыхивали войны за пограничные крепости Малой Азии.

Ильяса включили в состав посольства как знатока греческого языка, способного на месте оценить ценность найденных рукописей и договориться с местными хранителями библиотек, многие из которых были такими же христианами, как и он сам, только иного, халкидонского вероисповедания, принятого в самой Византии, в отличие от несторианской традиции, в которой был воспитан Ильяс. Путь посольства лежал через пограничные крепости, где недавние следы военных стычек соседствовали с оживлённой приграничной торговлей, а дальше — вглубь византийских земель, к городам, где со времён античности сохранялись частные и монастырские собрания греческих книг.

В одном из таких городов, в библиотеке при старом монастыре, Ильяс обнаружил рукопись, о существовании которой в Багдаде прежде знали только по отрывочным цитатам у позднейших авторов, — полный список одного из натурфилософских трудов, считавшегося безвозвратно утраченным. Договориться с настоятелем монастыря о разрешении скопировать текст оказалось непросто: монахи опасались, что передача учёного наследия иноверцам может быть расценена церковными властями как предательство христианского знания, да и сам халкидонский настоятель поначалу настороженно отнёсся к гостю-несторианину, которого его собственная традиция считала еретиком. Потребовались недели переговоров, посредничество местного ромейского чиновника, сопровождавшего посольство по поручению василевса, и, по позднейшей-

шим рассказам самого Ильяса, долгий личный разговор с настоятелем о том, что сохранение знания — дело, угодное Богу независимо от того, через чьи руки оно проходит. В конце концов разрешение было получено, и писцы посольства несколько недель трудились над копированием манускрипта, пока Ильяс сверял с настоятелем тёмные места текста, пострадавшие от времени и небрежности прежних переписчиков.

Копия, привезённая в Багдад, легла в основу арабского перевода, над которым Ильяс работал следующие несколько лет уже дома, в Доме мудрости, — труд, который, по его собственным словам в предисловии к переводу, стоил ему больше бессонных ночей, чем любая другая работа за всю его жизнь, но и принёс больше удовлетворения, чем любая другая удача: он своими руками спас для будущих читателей текст, который без этой поездки, вероятно, истлел бы в монастырской кладовой безвозвратно.

Женился Ильяс в возрасте около двадцати пяти лет, вскоре после переезда в Багдад, на девушке из той же сирийской христианской общины, дочери другого врача, с которым дружил ещё его отец. Брак был устроен по согласию обеих семей, как и было принято, и, по сохранившимся у потомков преданиям, оказался счастливым: жена Ильяса сама была грамотна — редкость даже среди женщин образованных христианских семей, но не исключение, — и помогала мужу вести записи по хозяйству, пока он проводил дни за переводами. По вечерам, если позволяло время и усталость, он читал ей вслух отрывки из готовых переводов — не столько ради учёной беседы, сколько потому, что, по его собственному признанию, читать текст вслух другому человеку было лучшим способом заметить в нём неловкость слога, ускользавшую от глаза при безмолвном чтении про себя; жена слушала внимательно и порой замечала то, что сам переводчик, слишком сроднившийся с оригиналом, уже не видел свежим взглядом. У них родилось шестеро детей, из которых выжило четверо; двое сыновей продолжили семейное дело врачевания и учёности, один из них позже и сам получил место в штате переводчиков Дома мудрости, продолжая традицию, которую отец и дед передали ему через три поколения. Две дочери были выданы замуж за молодых людей из той же христианской общины — одна за купца, торговавшего тканями на багдадских рынках, другая за писца при городском суде, — и обе семьи, по свидетельству внуков, ещё долгие годы собирались вместе на главные церковные праздники в доме, который Ильяс выстроил для своей семьи неподалёку от квартала переводчиков и переписчиков.

Жизнь Ильяса пришлась на годы наивысшего расцвета покровительства наукам при дворе аббасидских халифов, но застала он и начало перемен: преемники аль-Мамуна поначалу продолжали поддерживать учёные занятия, однако к старости Ильяса в богословских кругах халифата усиливалось течение, настороженно относившееся к философским и рационалистическим изысканиям, которые связывались с покойным халифом и его окружением. Самого Дома мудрости и его библиотеки эти перемены при жизни Ильяса ещё не коснулись напрямую, но учёный застал первые признаки того осторожного охлаждения к философии, которое в последующие десятилетия изменит атмосферу багдадской учёности — хотя и не остановит её вовсе: труды, переведённые в его время, продолжали переписываться, изучаться и передаваться дальше, в том числе в земли мусульманской Испании, откуда столетия спустя они попадут в христианскую Европу и дадут толчок её собственному возрождению учёности.

В последние годы службы Ильяс всё реже брался за новые переводы, предпочитая доводить до совершенства уже начатые труды и обучать ремеслу молодых помощников — делу, которое он считал не менее важным, чем сам перевод: без надёжной смены вся работа поколения переводчиков могла прерваться так же внезапно, как прервалась некогда часть античного наследия, уцелевшая лишь чудом, в единственном экземпляре, в дальнем монастырском хранилище. Он любил повторять ученикам слова, которые сам слышал в юности от старшего переводчика, своего первого наставника в Доме мудрости: что переводчик — не раб чужого

текста и не его хозяин, а мост между двумя берегами, и мост этот должен быть крепче обеих опор, иначе под его тяжестью рухнет и смысл, который он призван нести.

Ильяс дожил до преклонных лет, по позднейшим подсчётам потомков — около семидесяти пяти, — сохраняя ясность ума почти до самого конца, хотя руки его в последние годы дрожали настолько, что переписывать подробные тексты он уже не мог и диктовал переводы ученикам, доводя до готовности труды, начатые ещё в молодости. Умер он в собственном доме в Багдаде, окружённый детьми и внуками, от обычной старческой немощи, какая настигает человека, прожившего долгую и относительно благополучную по меркам своего века жизнь. Похоронили его по несторианскому обряду на кладбище христианской общины, но часть библиотеки — греческие и сирийские рукописи, арабские переводы с собственноручными пометками на полях — по его завещанию перешла не только сыновьям, но и в собрание Дома мудрости, где эти книги продолжали служить следующим поколениям переводчиков ещё долго после того, как имя самого Ильяса стёрлось из памяти всех, кроме его прямых потомков.

Ту самую копию, снятую с греческой рукописи византийского монастыря в молодости, Ильяс завещал особо: распорядился, чтобы она навсегда осталась в собрании Дома мудрости, рядом с его собственным переводом, как память о долгом и трудном пути, которым знание порой возвращается туда, где в нём больше всего нуждаются, минуя границы вер и языков, разделяющих людей куда прочнее, чем горы и моря.

Паломник, идущий в Мекку

Салим родился в пригороде Басры, в семье, кормившейся финиковыми пальмами, — южный Ирак той эпохи был покрыт одной из самых густых пальмовых рощ известного мира, а вода для орошения подавалась по сети каналов, прорытых ещё в незапамятные времена и поддерживаемых трудом многих поколений крестьян. Отец Салима владел небольшим наделом и десятком пальм, которые давал внаём соседям на часть урожая, — хозяйство скромное, но достаточное, чтобы семья не знала голода. Родился мальчик дома, роды принимала повитуха квартала, и на седьмой день отец, как полагалось по обычаю, принёс в жертву барана и дал сыну имя, означавшее «невредимый, здоровый», — имя, которое в этой части халифата носили повсеместно.

Семья держалась благочестиво, но без того особого рвения, что отличало учёных богословов и знатоков хадисов: отец знал наизусть обязательные молитвы и основные суры Корана, посещал пятничную проповедь в квартальной мечети, платил предписанную милостыню садака в меру достатка, но большую часть времени проводил за хозяйством, а не за книгами. Именно в такой среде — простого, искреннего благочестия, не отягощённого учёностью, — и прошло детство Салима.

С шести лет Салима отдали в кораническую школу при квартальной мечети, где местный учитель, не всегда сам хорошо знавший грамоту сверх заученного текста Корана, усаживал десяток мальчишек на циновках и заставлял хором повторять суры нараспев, добиваясь правильного произношения и запоминания наизусть прежде, чем ребёнок начинал разбирать смысл заучиваемого. К десяти годам Салим знал наизусть добрую половину Корана — не редкость для мальчика его круга, поскольку заучивание священного текста с детства считалось делом более важным, чем светская грамота, хотя писать и читать по-арабски его тоже научили, пусть и не для книжной учёности, а для нужд хозяйства и переписки. Учитель в школе не жалел тростниковой указки для нерадивых учеников, путавших порядок сур или запинавшихся в произношении гортанных звуков, которых не прощала строгость классического арабского чтения Корана, сильно отличавшегося от разговорного наречия улиц Басры; но тех, кто заучивал текст быстро и чисто, хвалил перед всем классом и иногда отпускал пораньше домой — награда, которую мальчишки ценили едва ли не выше сладостей.

Кроме коранической школы, детство Салима было полно игр, обычных для детей портового города на слиянии двух великих рек: мальчишки бегали наперегонки по дамбам между оросительными каналами, купались в протоках, ловили руками мелкую рыбу на отмелях, мастерили из пальмовых листьев нехитрые игрушечные лодки и пускали их наперегонки по арыкам. Басра той эпохи оставалась одним из крупнейших портов халифата, через который проходили товары с Индии, Восточной Африки и земель, лежавших ещё дальше на восток, и дети квартала нередко сбегали к пристаням поглазеть на чужеземных моряков, выгружавших пряности, слоновую кость и диковинных птиц, — зрелище, которое для сына земледельца было почти столь же удивительным, как позже оказалась для него сама Мекка.

Рацион детства в семье финикового земледельца строился вокруг главного дара этой земли: финики ели в любом виде — свежие, сушёные, перетёртые в пасту, добавленные в кашу, — вместе с ячменным и пшеничным хлебом, рыбой из близкого болотистого устья Тигра и Евфрата, молоком и сыром от немногочисленной скотины, финиковым уксусом и патокой для подслащивания пищи. Мясо на столе бывало редко, по праздникам или когда резали животное в честь важного события. С восьми лет мальчик уже помогал отцу на пальмовой плантации — самой трудной и опасной для ребёнка частью работы было опыление финиковых пальм вручную: в пору цветения мужские соцветия срезали с одних пальм и подвешивали среди женских соцветий других, поднимаясь по стволу на самодельных приспособлениях из верёвки и дере-

вянных упоров, — работа, которую в этих краях выполняли испокон веку, задолго до того, как европейские ботаники через много столетий объяснят её смысл через понятие опыления растений.

Собственно обрядам веры, помимо заучивания текста, Салима обучал тот же квартальный учитель и, в большей мере, собственный отец: как совершать омовение перед молитвой, как правильно вставать, кланяться и простираться в намазе, как поститься в месяц рамадан — пост, к которому ребёнка приучали постепенно, сперва по полдня, затем целиком, лет с двенадцати-тринадцати. Особое место в этом обучении занимал рассказ о пятом столпе веры — паломничестве в Мекку, хадже, обязательном для каждого взрослого мусульманина хотя бы раз в жизни, при условии, что здоровье и средства это позволяют. Отец Салима сам так и не совершил хаджа — пальмовое хозяйство не приносило достаточно, чтобы отложить средства на долгий и дорогостоящий путь через пустыню, — и потому с особым чувством рассказывал сыну о тех немногих земляках, кто вернулся из Мекки с почётным званием хаджи и с рассказами о Чёрном камне Каабы, о колодце Замзам и о многолюдье, какого в их краях никогда не видели.

Именно мечта когда-нибудь совершить хадж самому стала для юного Салима главным делом жизни задолго до того, как он смог к нему приступить. Отец начал откладывать для сына малую долю урожая отдельно, в особый кувшин, зарытый под полом кладовой, — обычай, известный многим семьям того времени, мечтавшим когда-нибудь отправить в паломничество хотя бы одного из детей. К двадцати годам, уже женившись и ведя собственное небольшое хозяйство, Салим продолжил откладывать сам, добавляя к родительским сбережениям выручку от продажи фиников и выделанных пальмовых циновок, которые его жена плела на продажу городским купцам.

Взрослая жизнь Салима была жизнью земледельца и мелкого торговца: он унаследовал отцовский надел, расширил его за счёт покупки нескольких соседних пальм, продавал урожай оптовым скупщикам, отправлявшим финики с басрийских пристаней вверх по Тигру в Багдад и дальше, караванными путями, в земли, где пальмы не росли вовсе. Будни делились между работой на плантации — поливом по расписанию, которое вела квартальная община, следившая за очерёдностью доступа к оросительным каналам, — сбором урожая в сезон, починкой инструмента и лодок, на которых урожай свозили к пристани. Рацион взрослого Салима мало отличался от детского: финики оставались основой стола, к ним добавлялись рыба, хлеб, овощи с небольшого огорода при доме, изредка баранина.

К тридцати пяти годам, после полутора десятков лет откладывания и удачного урожайного года, Салим наконец собрал сумму, достаточную для паломничества, — не только на дорожные расходы, но и на то, чтобы оставить жене и детям запас на время своего отсутствия, которое, как он знал по рассказам других хаджи, могло растянуться на многие месяцы, а то и на год, если считать время в пути туда и обратно. Решение отправиться в путь он принял вместе с женой после долгого разговора: отсутствие хозяина на полевых работах на целый сезон было серьёзной потерей для семьи, но упустить, возможно, единственный в жизни случай совершить хадж значило упустить не меньше, чем духовное дело всей жизни.

Готовясь к дороге, Салим поступил так же, как многие небогатые паломники его времени: закупил на скопленные деньги партию фиников лучших сортов и несколько тюков выделанных пальмовых циновок и верёвок, которые рассчитывал продать по пути или уже в Хиджазе, покрыв тем самым часть дорожных расходов и не тратя целиком отложенные годами сбережения. Паломничество для многих простых людей его сословия оставалось неотделимо от торговли: караван нёс не только молящихся, но и целый подвижный рынок, где по пути останавливались для обмена товарами с местными бедуинскими племенами, выменивавшими у паломников ткани и финики на свежее мясо, молоко и шерсть. Жена к тому же выткала ему в дорогу плотный шерстяной плащ на случай ночного холода пустыни — разница температур

между раскалённым днём и стылой ночью в этих краях была так велика, что неподготовленный путник рисковал простудиться сильнее, чем от зимней стужи на родине.

Салим присоединился к большому паломническому каравану, отправлявшемуся из Басры и Куфы в сторону Мекки по старому пути, известному как Дарб Зубайда — дорога Зубайды, по имени жены знаменитого халифа Харуна ар-Рашида, повелевшей за много десятилетий до рождения Салима обустроить этот маршрут колодцами, цистернами для сбора дождевой воды, путевыми станциями и указательными знаками на протяжении сотен миль пустыни между Ираком и Хиджазом. Без этой сети колодцев, вырытых и поддерживаемых трудами многих поколений, самостоятельное пересечение Аравийской пустыни было бы для большинства паломников попросту невозможным: расстояния между источниками воды в иных местах маршрута превышали два дня пути, а летняя жара в этих широтах убивала неподготовленного путника за считаные часы.

Караван, к которому присоединился Салим, насчитывал несколько тысяч человек — паломников, погонщиков верблюдов, торговцев, пристроившихся к общему шествию ради безопасности, охранной стражи, нанятой для защиты от кочевых разбойничьих отрядов, не упускавших случая напасть на богатый добычей караван паломников. Перед выходом из последнего крупного города на пути Салим, как и все паломники-мужчины, облачился в ихрам — два куска белой ткани без швов, обёрнутые вокруг тела особым образом: один вокруг бёдер, другой наброшенный на плечо, — одеяние, в котором все паломники, от знатного сановника до простого крестьянина, становились по виду неотличимы друг от друга, что символизировало равенство всех верующих перед лицом божественного вне зависимости от сословия и достатка. С этого момента паломнику запрещалось стричь волосы и ногти, охотиться, вступать в ссоры и супружеские отношения — вплоть до завершения основных обрядов хаджа.

Путь через пустыню занял около трёх недель беспрерывного движения от колодца к колодцу, в основном по ночам и в утренние часы, с долгим отдыхом в тени в самую жару дня. Салим на всю жизнь запомнил один переход, когда караван на два дня задержался у пересохшего не по сезону колодца в ожидании воды, подвозимой на верблюдах из соседней станции, — несколько паломников, ослабевших от жажды ещё до прибытия помощи, не пережили этой задержки, и их тела похоронили прямо у дороги, без долгих церемоний, как того требовал обычай в пустыне. Эта смерть товарищей по каравану — людей, с которыми Салим успел сдружиться за недели совместного пути, — заставила его как никогда остро ощутить, что паломничество было не праздной прогулкой, а подлинным испытанием, через которое проходили ради того, что считали важнее собственной жизни.

Мекка открылась каравану на рассвете — город в котловине среди голых гор, переполненный людьми, съехавшимися со всех концов исламского мира: персами, магрибинцами, выходцами из Индии и Восточной Африки, говорившими на десятках разных языков и наречий арабского. Войдя в Заповедную мечеть, Салим впервые в жизни увидел Каабу — кубическое здание, укрытое чёрным покровом, вокруг которого двигалась нескончаемая людская река обряда таваф, семикратного обхода святыни против часовой стрелки. Он коснулся Чёрного камня, вделанного в один из углов Каабы, — по преданию, камня, ниспосланного с небес и почерневшего от грехов человеческих, которые он будто бы впитывал за века, — и, по его собственным позднейшим словам, не мог сдержать слёз, вспоминая отцовский рассказ об этом самом камне, слышанный ещё ребёнком у очага дома в Басре.

После тавафа Салим вместе со спутниками совершил ещё один обязательный обряд — сай, семикратный проход между двумя холмами, Сафа и Марва, расположенными неподалёку от Каабы внутри той же мечети: обряд в память о библейской Агари, по преданию, метавшейся между этими холмами в поисках воды для своего сына Исмаила, пока у его ног не забил источник Замзам. Воду из этого источника, бившего теперь из облицованного камнем колодца посреди мечети, паломники пили в изобилии и увозили с собой в небольших сосудах как бла-

гословенный дар, который родные дома бережно хранили для особых случаев — обмывания покойного перед погребением или исцеления больного.

Главный день хаджа — стояние на равнине Арафат, в нескольких часах пути от Мекки, — Салим провёл вместе с сотнями тысяч паломников под открытым небом, в молитве с полудня до заката, в самую жару, какую он когда-либо переживал. Именно в этом стоянии, как объяснял ему в детстве отец, и заключалась главная суть паломничества: не столько обряды сами по себе, сколько миг, когда человек стоит под открытым небом вместе с неисчислимым множеством таких же, как он, людей, прося прощения грехов и ощущая себя ничтожно малой, но не одинокой частью огромного, объединённого общей верой человечества.

После Арафата караван паломников двинулся в Муздалифу, где люди провели ночь под открытым небом, собирая мелкие камешки для следующего обряда, а на другой день — в долину Мина, где Салим трижды бросил собранные камни в каменные столбы, символизирующие искушение, которому, по преданию, подвергался пророк Ибрахим, прежде чем принести в жертву сына по велению Божьему и получить взамен овна. В память об этом избавлении от жертвы паломники в Мине приносили в жертву овец и другой скот — мясо жертвенных животных раздавали беднякам и делили между паломниками, и в эти дни даже самый скромный путник из бедной земледельческой семьи ел мясо досыта, как не ел, быть может, уже много месяцев. Завершив эти обряды, Салим обрил голову — знак окончания состояния ихрама — и вернулся в Мекку для прощального обхода Каабы перед дорогой домой. Обратный путь через ту же пустыню дался легче, чем путь туда: верблюды, разгруженные от части поклажи, шли быстрее, а сам Салим, по собственным словам, уже не замечал ни жары, ни усталости так остро, как в начале пути, — душа, исполнившая то, ради чего был предпринят весь этот труд, будто бы придавала телу новые силы. По дороге домой он ещё не раз останавливался у тех же колодцев Дарб Зубайды, виденных по пути туда, и каждый раз с благодарностью вспоминал давно умершую повелительницу, чьим иждивением были вырыты эти спасительные источники посреди безводной пустыни, — благодарность, которую, как он знал, разделяли с ним бесчисленные поколения паломников, прошедших этим же путём и до, и после него.

Женился Салим в возрасте двадцати лет на дочери соседнего земледельца, девушке, которую семьи сосватали по обычаю, посоветовавшись через родственниц с обеих сторон. Брак, по позднейшим рассказам детей, сложился ладным: жена вела хозяйство, плела циновки на продажу, помогала с детьми, которых у пары родилось семеро, из них пятеро дожили до взрослых лет — соотношение по тем временам не редкое и даже благополучное. Долгий год отсутствия мужа, пока тот совершал хадж, жена провела, управляя хозяйством с помощью старших сыновей и соседской взаимопомощи, обычной в земледельческой общине, где семьи выручали друг друга в подобных случаях, зная, что рано или поздно самим придётся рассчитывать на такую же помощь.

Вернувшись из Мекки, Салим до конца жизни носил почётное звание хаджи — приставку к имени, которая в его общине значила не меньше, чем иной знатный титул, и которая передавалась по памяти даже его детям и внукам как часть семейной истории. Односельчане обращались к нему за советом в делах веры чаще, чем прежде, хотя учёным богословом он так и не стал, оставаясь по сути простым земледельцем, чья религиозность выражалась скорее в пройденном пути, чем в книжном знании. Он с удовольствием рассказывал внукам о пустыне, о колодцах Дарб Зубайды, о людском море вокруг Каабы, и некоторые из этих рассказов, обрастая годами новыми подробностями, превращались в нечто вроде семейных преданий, пересказываемых за много лет после его смерти. Сосуд с водой Замзам, привезённый им из Мекки, домашние берегли долгие годы после его возвращения, доливая в него по капле обычную воду, когда святой запас подходил к концу, — обычай, который Салим поначалу находил сомнительным, но со временем перестал оспаривать: важнее самой воды оказалась память о пути, который эта вода собой олицетворяла для всей семьи, а не только для него одного.

Умер Салим на родной земле, в кругу детей и внуков, в преклонном возрасте — ему было, по счёту домашних, около шестидесяти пяти лет, — от болезни, какая постепенно подтачивала силы стариков того времени и которую сами они называли просто упадком сил. Похоронили его согласно мусульманскому обряду, в саване без гроба, лицом к Мекке, — в сторону той самой котловины среди голых гор, которую он видел своими глазами лишь однажды, в середине жизни, но к которой с тех пор был обращён каждой своей ежедневной молитвой до самого последнего дня.

Купец на пути специй в Индийский океан

Фарис родился в Сирафе, персидском порту на северном берегу пролива, через который Персидский залив сообщается с открытым Индийским океаном, — городе, который в десятом веке, когда родился Фарис, был одним из богатейших торговых центров известного мира, куда свозились товары с половины земного шара: китайский фарфор и шёлк, индийские пряности и драгоценные камни, восточноафриканская слоновая кость и золото, стекло и металлические изделия самого Ирака. Отец его был судовладельцем среднего достатка — не из числа богатейших купцов города, владевших целыми флотилиями и особняками с внутренними двориками, украшенными привозными изразцами, но достаточно состоятельным, чтобы содержать одно крупное морское судно и регулярно отправлять его в плавание к берегам Индии.

Родился Фарис в доме у самой гавани, где с рассветом до заката слышался стук молотков корабельных плотников и крики носильщиков, разгружавших прибывшие суда. Роды принимала повитуха квартала моряков, обряд имянаречения совершили на седьмой день по обычаю, и отец, как это было принято среди арабских мореходов, в тот же день записал дату рождения сына в судовой журнал — не столько из сентиментальности, сколько по давней привычке мореходов фиксировать важные события по лунному календарю, тому же, по которому высчитывали сроки муссонных ветров.

Детство у сирафской гавани было пропитано морем в буквальном смысле слова: с пяти-шести лет Фарис играл среди просмолённых канатов и наваленных на берегу товаров, с восьми — начал выходить с отцом в короткие прибрежные плавания вдоль берегов залива, где учился различать звёзды над головой, определять направление ветра по его запаху и влажности, узнавать по силуэту далёкий парус чужого судна прежде, чем это мог сделать кто-либо из взрослых матросов. Грамоте его обучал приходящий учитель при соборной мечети города — читать Коран, считать на счётах для торговых расчётов, записывать простым почерком расписки и грузовые реестры; более тонкой книжной учёности купеческому сыну не требовалось, хотя отец настоял, чтобы сын знал хотя бы основы арифметики достаточно твёрдо, чтобы не быть обманутым нечестным партнёром при разделе прибыли от совместного плавания.

Рацион детства в приморском купеческом доме был богаче, чем у большинства подданных халифата: рыба всех сортов, финики, привозной рис, пшеничный хлеб, цитрусовые и гранаты из окрестных садов, орошаемых подземными каналами-канатами, которые вели воду с дальних гор, — а по особым случаям, когда отец возвращался из удачного плавания, на стол попадали и настоящие заморские редкости: индийские пряности, сушёные фрукты с восточноафриканского побережья, сахарный тростник. С десяти лет Фарис начал осваивать практические морские навыки под присмотром отцовских матросов: вязать узлы, чинить паруса, грести на вспомогательной лодке, спускаемой с борта большого судна при входе в мелководную гавань.

Сираф того времени был городом удивительно пёстрым для мальчишеского взгляда: на его улицах и в гавани можно было встретить персов и арабов, индийских купцов в ярких тюрбанах, темнокожих торговцев с восточноафриканского побережья, а порой и китайских моряков, прибывавших на огромных, невиданных в западных водах судах-джонках с несколькими мачтами и переборчатыми трюмами, разделёнными на отдельные водонепроницаемые отсеки, — конструкция, которая вызывала у арабских корабелов уважительное недоумение, поскольку позволяла китайскому судну оставаться на плаву даже при пробоине в одном из отсеков. Фарис в детстве подолгу торчал у причалов, где разгружали такие джонки, разглядывая невиданные товары и слушая обрывки чужой речи, которую не понимал ни слова, но которая казалась ему музыкой далёких и загадочных земель.

Квартальные мальчишки делились на тех, чьи отцы владели судами, и тех, чьи отцы нанимались простыми гребцами и грузчиками, — различие, заметное даже в детских играх: сыновья судовладельцев разыгрывали во дворах целые морские сражения с деревянными корабликами, тогда как сыновья наёмных матросов с малых лет знали цену каждому заработанному дирхему. Фарис, при всей зажиточности отцовского дома, дружил с детьми обоих кругов без разбора — дружба эта впоследствии пригодилась ему как купцу, умевшему найти общий язык что с богатым партнёром, что с простым гребцом собственного экипажа, от выносливости и верности которого в открытом море порой зависела жизнь всех, кто был на борту.

Настоящее обучение морскому ремеслу началось для Фариса в четырнадцать лет, когда отец впервые взял его в большое плавание к берегам Малабара — юго-западного побережья Индии, славившегося перцем, который рос там в диком изобилии и которого не знали в таком количестве нигде более в известном арабам мире. Судно, на котором они шли, было доу — деревянным парусником с характерным косым, так называемым латинским парусом, позволявшим идти круче к ветру, чем квадратный парус, распространённый у средиземноморских мореходов, и со сшитым, а не сколоченным гвоздями корпусом: доски обшивки соединялись между собой прочными верёвками из койрового волокна кокосовой пальмы и просмаливались рыбьим жиром и смолой, — конструкция, которая, по убеждению арабских корабелов того времени, лучше квадратного средиземноморского корабля выдерживала удары волн в открытом океане именно благодаря своей гибкости.

Юноша учился у бывалых штурманов главному секрету успешной торговли с Индией: расписанию муссонных ветров, которые полгода дуют в одном направлении, а полгода — в противоположном, позволяя опытному мореходу спланировать плавание туда и обратно в пределах одного торгового сезона. Выход из Персидского залива в сторону Индии полагалось совершать с окончанием зимних северо-восточных ветров, в начале весны; обратный путь — с наступлением летнего юго-западного муссона, дующего, напротив, от Индии в сторону Аравии. Ошибка в расчёте сроков грозила застрять на чужом берегу на долгие месяцы в ожидании перемены ветра или, того хуже, попытаться идти против муссона и подвергнуть судно смертельной опасности в штормовых водах. Штурманы ориентировались по звёздам — прежде всего по Полярной звезде и созвездиям, высота которых над горизонтом менялась с широтой, — используя простой деревянный прибор с нанизанными на шнур дощечками, позволявший с разумной точностью измерить угол. Прибор этот, который арабские мореходы называли камаль, был устройством обманчиво простым: деревянная пластинка с отверстием посередине, через которое пропускался шнур с узелками на равных расстояниях; штурман брал шнур в зубы, вытягивал руку с пластинкой так, чтобы нижний край совпадал с линией горизонта, а верхний — с Полярной звездой, и по тому, какой из узелков шнура оказывался у его губ, определял широту места с точностью, достаточной для многодневного перехода по открытой воде. Отец учил Фариса, что хороший штурман отличается от посредственного не столько знанием самого прибора — обращаться с ним мог выучиться любой смышлёный матрос за несколько недель, — сколько многолетним опытом чтения моря: по цвету воды он умел угадывать близость отмели ещё до того, как она покажется на глаз, по характеру волн — приближение шторма за много часов до первых признаков, которые заметил бы неопытный человек. К двадцати годам Фарис уже самостоятельно вёл расчёты курса под надзором отца и в один из походов, когда отец занемог лихорадкой, принял на себя фактическое командование судном на обратном пути домой.

К тридцати годам Фарис унаследовал отцовское дело и собственное судно, расширив торговлю сверх одного только перца: он возил корицу с Цейлона, которую выменивал у индийских посредников, гвоздику и мускатный орех, доходившие через цепочку перекупщиков с далёких островов пряностей, о точном расположении которых сам Фарис знал лишь понаслышке, хлопковые ткани индийского производства, драгоценные камни, а в обратную сторону, в Индию,

вёз персидские ковры, финики, лошадей — индийские раджи ценили аравийских и персидских коней, не способных размножаться в тамошнем климате так же успешно, как на родине, и платили за них щедро.

Рабочий год купца-морехода делился на два больших плавания и промежуточные месяцы в порту, когда закупался товар для следующего рейса и велись расчёты с партнёрами и заказчиками. Будни в плавании состояли из многодневных переходов в открытом океане, вне видимости берега, — испытание, которое мало кто из сухопутных жителей халифата мог вообразить: неделями вокруг не было ничего, кроме воды и неба, и вся надежда экипажа лежала на опытности штурмана и на милости переменчивого ветра. Рацион в плавании был скромнее берегового: сушёная рыба, финики, рис, пресная вода, которую берегли строже всех прочих припасов и которой на долгий переход требовалось брать из расчёта на непредвиденную задержку в пути. Торговля на малабарском берегу велась через местных посредников, многие из которых происходили из арабских купеческих семей, осевших на индийском побережье ещё за несколько поколений до Фариса и породнившихся с местным населением, — такие смешанные общины купцов-мусульман на западном побережье Индии существовали к тому времени уже не первое столетие и служили надёжным мостом между двумя разными мирами торговли.

Цены на пряности менялись год от года в зависимости от урожая и от количества судов, пришедших в сезон на малабарский берег, и часть мастерства купца заключалась именно в умении оценить обстановку торга прежде, чем начинать переговоры: слишком поспешная покупка по первой предложенной цене оборачивалась убытком, а излишняя медлительность грозила тем, что лучший товар раскупят конкуренты, прибывшие тем же сезоном. Фарис с годами выработал привычку первые два-три дня по прибытии в порт только присматриваться к торгу, беседовать со знакомыми посредниками и слушать слухи о видах на урожай перца в нынешнем году, и лишь затем приступать к собственным сделкам — метод, который отец некогда перенял от своего учителя и который, в свою очередь, передал сыну.

Самым памятным плаванием в жизни Фариса стал переход, в который он впервые вышел уже полностью самостоятельным капитаном собственного судна, без отцовского присмотра, с полным трюмом персидских товаров и репутацией всей семьи, поставленной на кон перед собственной командой и перед заказчиками, ожидавшими груз в Малабаре к сроку. Плавание шло гладко до середины пути, пока в один из дней горизонт на юго-западе не затянуло характерной тёмной грядой облаков, которую опытные моряки распознавали как предвестие внесезонного шторма — редкого, но не невозможного явления даже в пору устойчивого муссона. Фарис приказал спустить часть парусов заблаговременно, но буря всё равно настигла судно прежде, чем команда успела должным образом закрепить груз в трюме.

Доу швыряло на волнах так, что швы обшивки, сшитой верёвками, разошлись в нескольких местах, и в трюм начала поступать вода быстрее, чем успевала откачивать команда с помощью черпаков и ручного насоса. Фарис, понимая, что перегруженное судно рискует пойти ко дну прежде, чем буря утихнет, принял решение, которое далось ему тяжелее любого прежде принятого: приказал команде выбросить за борт часть груза — тюки дорогих персидских ковров и часть запасов фиников, — чтобы облегчить судно и снизить осадку, позволяющую воде прибывать быстрее через повреждённые швы. Потеря была велика — стоимость выброшенного груза равнялась едва ли не половине ожидаемой прибыли всего плавания, — но облегчённое судно продержалось на плаву до того, как шторм начал стихать к исходу вторых суток.

Когда буря улеглась и команда смогла наконец заделать повреждённые швы просмоленной паклей и запасной верёвкой, Фарис сутки почти не спал, лично проверяя каждый шов обшивки и распределение оставшегося груза, прежде чем решиться продолжить путь. Судно благополучно дошло до малабарского берега с опозданием на две недели против расчётного срока, и местные партнёры, уже начавшие беспокоиться о его судьбе, встретили прибывших с нескрываемым облегчением. По возвращении в Сираф Фарис честно рассказал заказчикам

о потере части груза и возместил убыток из собственных средств, не желая, чтобы репутация его дома пострадала из-за решения, принятого ради спасения самого судна и жизней команды, — решение, которое впоследствии не раз приводил в пример молодым капитанам, которых со временем стал наставлять сам.

Среди матросов того плавания долго потом ходил рассказ о том, как во время самого сильного удара волны, едва не опрокинувшего судно на бок, Фарис, привязанный верёвкой к основанию мачты, чтобы не быть смытым за борт, продолжал выкрикивать команды таким ровным голосом, что паникующие новички в экипаже невольно успокаивались, слыша его, прежде чем успевали осознать, что сам капитан вовсе не так спокоен внутри, как казался снаружи. Сам Фарис признавался позже только старшему сыну, что в ту ночь, впервые за всю жизнь на море, по-настоящему прощался с жизнью, перебирая в уме лица жены и ещё маленьких тогда детей, — и что именно эта мысль, а не страх за груз или репутацию, заставила его принять решение облегчить судно без долгих колебаний.

Женился Фарис в двадцать два года, вскоре после первого самостоятельного плавания, на дочери другого сирафского судовладельца — брак, устроенный отцами обоих семейств не только по взаимной симпатии молодых людей, но и по разумному торговому расчёту: объединение капиталов двух купеческих домов позволяло снаряжать более крупные и лучше охраняемые суда, способные перевозить больше груза за один рейс. У Фариса и его жены родилось шестеро детей, из которых пятеро дожили до взрослых лет; два сына с ранних лет сопровождали отца в индийских плаваниях, перенимая то же ремесло, что и сам Фарис в своё время перенял от отца, а дочерей со временем выдали замуж за сыновей других купеческих семей города, упрочив тем самым торговые связи дома ещё на поколение вперёд.

Жена Фариса, как и многие жёны сирафских мореходов, подолгу оставалась хозяйкой дома и дел в отсутствие мужа, ведя расчёты с местными поставщиками и принимая решения по мелким торговым вопросам до его возвращения, — роль, которую в приморских купеческих городах женщины из состоятельных семей исполняли куда самостоятельнее, чем это было принято в более консервативных сухопутных областях халифата. Месяцы ожидания мужа из плавания были для неё и для всех сирафских жён временем особого, молчаливого напряжения: любое изменение погоды, слух о шторме в заливе или задержке каравана судов заставлял женщин квартала собираться у кого-нибудь во дворе и делиться новостями, настоящими и мнимыми, пока на горизонте не покажутся долгожданные паруса.

На закате жизни Фарис передал большую часть дел старшему сыну, продолжая, впрочем, до глубокой старости появляться в гавани при отправке и возвращении семейных судов и давая советы по расчёту сроков плавания, в которых ему не было равных в целом квартале. Внуков он усаживал у себя во дворе и терпеливо учил их обращаться с камалем, повторяя те же слова, что когда-то слышал от собственного отца: что море не прощает самоуверенности, но щедро вознаграждает терпение и трезвый расчёт, — и что никакая удача не заменит штурману многолетней привычки вслушиваться в собственное судно и в собственное море, прежде чем довериться первому благоприятному на вид ветру. Последние его годы совпали с печальными переменами в судьбе родного города: в конце десятого века сильное землетрясение разрушило значительную часть Сирафа, обрушив дома и повредив гавань, а последовавшее за ним постепенное обмеление и перемещение главных торговых потоков в сторону других портов залива — прежде всего в сторону острова Киш и позднее Хормуза — обескровило некогда процветавший город на протяжении жизни ещё одного поколения. Фарис застал только самое начало этого упадка, но уже тогда с горечью замечал, что гавань, некогда переполненная судами со всего известного мира, пустеет год от года.

Среди последних дел, которые Фарис довёл до конца уже совсем немощным стариком, было устное завещание, в котором он разделил между сыновьями не только суда и товарные запасы, но и накопленное за полвека знание — названия звёзд, по которым вести судно в разное

время года, приметы перемены муссона на несколько дней раньше срока, имена надёжных посредников на малабарском берегу, с которыми вести дела можно было без опасения быть обманутым. Старший сын записал часть этих наставлений на пергамене, опасаясь, что иначе такое богатство опыта, не уступавшее по ценности самому унаследованному капиталу, может со временем забыться или исказиться в пересказах.

Умер он у себя дома, в Сирафе, в преклонном возрасте — около семидесяти лет по позднейшим прикидкам потомков, — от слабости, какая обычно сводит в могилу стариков, проживших долгую, полную трудов и опасностей жизнь. Похоронили его на приморском кладбище города, откуда были видны сходящие на воду суда, — место упокоения, которое сам Фарис выбрал заранее, объяснив сыновьям, что хочет и после смерти слышать плеск воды и скрип снастей, сопровождавшие его с первого до последнего дня жизни.

Чиновник, сдающий императорский экзамен

Чжао Минъюань родился в небольшом уездном городке провинции Цзянсу, в низовьях Янцзы, в семье мелкого торговца зерном, в эпоху династии Сун, когда империя после долгих веков раздробленности вновь была объединена под единой властью и переживала невиданный прежде хозяйственный и культурный подъём. Отец его не принадлежал к потомственной знати и не имел чиновничьего звания — человек простого происхождения, разбогатевший на честной торговле настолько, чтобы прокормить семью и даже откладывать средства на будущее, но не настолько, чтобы считаться в уезде человеком видным. Дом, где родился Минъюань, стоял на торговой улице неподалёку от канала, по которому баржи с зерном и товаром сновали днём и ночью, связывая их городок с куда более крупными центрами провинции.

Роды принимала повитуха, нанятая за умеренную плату; на третий день совершили обряд обмывания младенца, пригласив ближайших родственников, а имя дали, выбрав иероглифы, означавшие «яркий» и «изначальный» — пожелание, какое вкладывают в имя сына родители, мечтающие, чтобы он просиял на избранном поприще. В семье к тому времени уже подрастала старшая дочь, и рождение сына отец отпраздновал с особым воодушевлением: именно на сына возлагались надежды рода на то единственное восхождение по общественной лестнице, которое в империи Сун было доступно человеку не знатного происхождения, — успешную сдачу государственных экзаменов на учёную степень и последующую чиновничью карьеру.

С пяти лет Минъюаня отдали в частную школу при храме предков богатой семьи уезда, куда брали и детей простых горожан за плату, если те выказывали способности к учению. Обучение начиналось с заучивания наизусть простейших текстов — сборников элементарных иероглифов, затем классических изречений, — и шло оно методом, не щадившим ни ученика, ни учителя: целые дни напролёт мальчики нараспев повторяли вслух строки, пока текст не впечатывался в память настолько прочно, что его можно было воспроизвести в любое время дня и ночи, не задумываясь. Учитель, пожилой человек, сам в молодости безуспешно пытавшийся сдать экзамен на степень цзюйжэнь, был строг до жестокости: за ошибку в декламации или за небрежный мазок кисти полагался удар линейкой по раскрытой ладони, и Минъюань, по его позднейшим воспоминаниям, не одну неделю детства провёл с горящими от побоев руками.

Рацион детства в семье уездного торговца был простым, но без нужды: рис — основа стола южных провинций, овощи, соевый творог, рыба из близкого канала, свинина по праздникам, чай, который в семьях со скромным достатком уже вошёл в повседневный обиход настолько, что без него не обходилась ни одна трапеза. Отец, рассчитывая на будущую карьеру сына, не жалел денег на хорошую бумагу, тушь и кисти — предметы недешёвые, но без которых невозможно было овладеть каллиграфией, качество которой экзаменаторы ценили едва ли не наравне с содержанием написанного.

К десяти годам Минъюань бегло читал и переписывал тексты конфуцианского канона — «Четверокнижие» и «Пятикнижие», составлявшие основу всей системы государственных экзаменов, — заучивая попутно классические комментарии прославленных учёных прошлого, без знания которых правильное толкование древних текстов считалось немыслимым.

Отдельным предметом детских занятий была каллиграфия — искусство, которому в китайской учёной традиции придавалось значение едва ли не равное самому содержанию текста. Мальчика усаживали переписывать образцовые прописи знаменитых каллиграфов прошлых столетий по многу часов подряд, добиваясь, чтобы рука твёрдо держала кисть, а каждый штрих ложился на бумагу с правильным нажимом и в правильной последовательности движений. Учитель проверял тетради еженедельно, обводя красной тушью особенно удачные иероглифы и перечёркивая небрежные, и Минъюань на всю жизнь запомнил чувство гордости,

когда впервые получил от строгого наставника не удар линейкой, а сдержанный кивок одобрения за ровно выведенную страницу.

Свободного времени у детей в такой школе оставалось немного — редкие часы между уроками уходили на немногочисленные игры: прятки среди тюков на отцовском складе, запуск воздушных змеев на городской стене в праздничные дни, рыбную ловлю в канале удочкой из бамбукового прута. Отец, впрочем, не одобрял, когда сын слишком увлекался подобными забавами в ущерб занятиям, и нередко напоминал ему известную в их краях поговорку о том, что десять лет упорного учения у холодного окна стоят одного мгновения славы у дворцовых ворот.

В пятнадцать лет Минъюань начал готовиться к низшей ступени государственных экзаменов — уездному отбору, который давал право на участие в следующей, провинциальной ступени. Подготовка эта растянулась на годы упорного, почти монашеского труда: юноша вставал до рассвета, чтобы успеть позаниматься до начала дневных дел по лавке, в которых отец всё ещё рассчитывал на его помощь, и заканчивал день за книгами при свете масляного светильника, экономя которое приходилось особенно строго, поскольку масло стоило недёшево. По рассказам, которые передавались в семье через поколения, в особенно суровые зимы, когда денег на масло недоставало, он читал при тусклом свете, отражённом от снега за окном, — приём, которым, если верить легендам, пользовались многие небогатые студенты на протяжении столетий китайской учёности.

Первую попытку сдать уездный экзамен Минъюань предпринял в восемнадцать лет и провалился — обычное дело для системы, в которой даже самые способные кандидаты годами сдавали экзамены повторно, прежде чем добивались успеха, а многие так и не добивались его вовсе, доживая век безуспешными «вечными студентами». Отец, вопреки неудаче, не упрекнул сына, а лишь удвоил усилия по изысканию средств на продолжение учёбы: нанял для сына более опытного наставника из соседнего, более крупного города, способного готовить учеников не просто к заучиванию канона, но и к тому особому искусству составления экзаменационного сочинения, которое требовало сочетать цитаты из классиков с собственными рассуждениями по заданной теме в строго предписанной форме, не допускавшей отступлений.

После первой неудачи Минъюань почти год избегал смотреть в глаза соседям, зная, что весь квартал в курсе его провала: списки неудачников, в отличие от списков выдержавших, не вывешивались публично, но слухи в небольшом уездном городке расходились быстрее любого объявления. Мать, хоть и не говорила прямо, явно опасалась, что сын повторит судьбу их соседа — немолодого уже человека, за тридцать лет так и не сумевшего сдать даже низшую ступень экзамена и ставшего в уезде притчей во языцех как пример бесплодно потраченной на учение жизни. Отец, однако, стоял на своём: деньги на новую подготовку нашлись, пусть и ценой отказа от расширения лавки, которое он давно планировал.

Вторую попытку, в двадцать один год, Минъюань выдержал, получив право на участие в провинциальном экзамене в главном городе области. Эта ступень оказалась куда серьёзнее: кандидаты съезжались со всего региона, помещения для испытаний не вмещали и десятой доли желающих, а конкуренция была так велика, что из нескольких тысяч соискателей отбирали лишь несколько десятков. Минъюань провалил эту ступень дважды подряд, прежде чем на третий раз, в возрасте двадцати семи лет, добился успеха, — возраст, по меркам системы, вполне обычный: средний успешный кандидат на высшую государственную степень в эпоху Сун получал её далеко не в юности, а нередко уже разменяв четвёртый десяток лет жизни.

Получение провинциальной степени цзюйжэнь само по себе открывало определённые возможности — право занимать мелкие должности в местной администрации, освобождение от трудовой повинности и части налогов, уважение в родном уезде, — но подлинной вершиной системы оставался столичный экзамен, дававший высшую степень цзиньши и доступ к настоящей государственной карьере. Минъюань отправился в столицу готовиться к этому послед-

нему, самому трудному испытанию, снимая угол в доме дальнего родственника и зарабатывая на жизнь перепиской документов для состоятельных горожан и частными уроками для детей местных купцов, мечтавших, чтобы их сыновья однажды повторили тот путь, который сам он всё ещё только пытался пройти.

Годы ожидания и подготовки к столичному экзамену были для Минъюаня временем крайней бедности и крайнего же напряжения сил: он знал, что следующая возможность сдать экзамен представится лишь через несколько лет, согласно установленному расписанию, и что провал означает либо новые годы ожидания, либо отказ от мечты вовсе и возвращение в отцовскую лавку доживать жизнь простым торговцем. Рацион этих лет был скуден — рис, соленья, изредка немного мяса, — но Минъюань, по собственным позднейшим словам, почти не замечал лишений, целиком поглощённый повторением классических текстов и упражнением в составлении экзаменационных сочинений на заданные темы, которые он отрабатывал десятками, добиваясь безупречности и формы, и аргументации.

В столице он сблизился с кружком таких же, как он, провинциальных кандидатов, снимавших углы по соседству и коротавших редкие часы досуга за чаем и разговорами о прочитанном. Эти знакомства оказались ценнее, чем сам Минъюань мог предположить поначалу: товарищи по учению обменивались друг с другом списками удачных прошлых сочинений, прошедших через руки прежних экзаменаторов, обсуждали новые веяния в толковании классиков, доходившие из уст наиболее прославленных столичных наставников, и поддерживали друг друга в минуты отчаяния, которые неизбежно настигали даже самых усердных студентов после очередного замеченного пробела в собственных знаниях. Один из этих приятелей, уроженец северной провинции, впоследствии сам получил высокую степень годом позже Минъюаня, и дружба их продолжилась уже в переписке, которую оба вели десятилетиями, обмениваясь новостями о службе и советами по делам управления.

Столичный экзамен проходил в огромном огороженном комплексе, выстроенном специально для этой цели, — тысячи тесных отдельных кабинок, в каждой из которых помещался только стол, скамья и сам экзаменующийся, запертый на несколько суток подряд без права покинуть своё место иначе как по завершении всех предписанных сочинений. Перед входом каждого кандидата тщательно обыскивали стражники, проверяя, не пронёс ли он спрятанных шпаргалок — ухищрение, которым, несмотря на суровость наказаний, вплоть до смертной казни за особо наглый обман, пытались пользоваться многие отчаявшиеся соискатели; у некоторых находили исписанное мельчайшими иероглифами нижнее бельё или полые кисти для письма, начинённые свёрнутыми листками с текстом классиков.

Минъюань провёл в своей кабинке три дня и две ночи почти без сна, питаясь скудным пайком, который разрешалось приносить с собой, и справляя нужду в отведённый для этого угол той же тесной клетушки — унизительные, но обычные для всех условия испытания, через которые проходил каждый кандидат вне зависимости от происхождения. За эти трое суток ему предстояло написать несколько объёмных сочинений на темы, связанные с толкованием классических текстов, с вопросами государственного управления и с практическими задачами, которые мог поставить перед чиновником реальный ход дел в уезде или области, — сочинение требовалось облечь в строгую, многократно отработанную форму, безупречную по стилю и каллиграфии, поскольку небрежный почерк мог стоить кандидату успеха независимо от глубины содержания.

Когда истёк срок испытания и кабинки открыли, Минъюань вышел шатающейся походкой, не чувствуя толком ни рук, ни ног от долгого сидения и недосыпа, и вместе с тысячами других кандидатов провёл последующие недели в мучительном ожидании результатов, которые оглашались у ворот императорского дворца на больших вывешенных списках. В день оглашения результатов толпа у ворот была так велика, что людей едва не давили о стены, пытаясь протиснуться ближе и разглядеть собственное имя среди сотен написанных на свитке иеро-

глифов. Минъюань нашёл своё имя в списке успешно сдавших не сразу — несколько раз пробежал глазами по колонкам, не веря себе, прежде чем товарищ, стоявший рядом, не хлопнул его по плечу с поздравлением, — и, по его собственным словам, этот миг, когда глаза наконец различили знакомые иероглифы собственного имени среди чужих, остался самым острым переживанием всей его долгой последующей жизни, не сравнимым ни с одной последующей удачей или бедой.

Женился Минъюань поздно по обычным меркам своего времени — уже после получения провинциальной степени, в двадцать восемь лет, на дочери местного землевладельца среднего достатка, который счёл подающего надежды кандидата на государственную службу выгодной партией для дочери, несмотря на скромное происхождение жениха: ожидаемая будущая должность чиновника с лихвой перевешивала в глазах тестя отсутствие знатных предков. Брак был устроен через сватов по всем правилам обычая, и жена Минъюаня, как многие жёны чиновников его круга, взяла на себя всё бремя домашнего хозяйства и воспитания детей, пока муж годами пропадал в столице за книгами, а затем — на казённой службе вдали от родных мест, куда семьи чиновников часто не могли или не хотели следовать за главой семейства немедленно.

У супругов родилось четверо детей, из которых трое дожили до взрослых лет; старшего сына Минъюань с малых лет готовил к тому же пути, каким прошёл сам, нанимая ему лучших учителей, каких только мог себе позволить на чиновничье жалованье, — круговорот усилий и надежд, повторявшийся в китайских образованных семьях из поколения в поколение на протяжении столетий существования экзаменационной системы. Младшую дочь выдали замуж за сына сослуживца, с которым Минъюань близко сошёлся во время службы в одной из провинций, а средний сын, не выказавший особых способностей к книжной учёности, был определён в семейное торговое дело, которое по-прежнему вела в родном уезде младшая ветвь семьи, так что род Минъюаня, разбогатев на чиновничьей службе одного поколения, не порывал и со старым купеческим ремеслом, давшим ему некогда средства на саму эту службу.

Получив степень цзиньши, Минъюань был назначен на должность уездного судьи и администратора в провинции, удалённой от родных мест, — обычная практика империи Сун, намеренно направлявшей чиновников служить вдали от собственной родины и собственных родственных связей, чтобы избежать злоупотреблений и местничества. На этом посту и на нескольких последующих, куда его переводили раз в несколько лет согласно обычной чиновничьей ротации, Минъюань прослужил более тридцати лет, разбирая тяжбы, собирая налоги, надзирая за ирригационными работами и местными запасами зерна на случай неурожая, — повседневная рутина государственного управления, далёкая от романтики экзаменационного триумфа, но дававшая стабильный доход и уважение, недоступные простому торговцу, каким остался бы Минъюань, не выдержи он в своё время столичного испытания.

За годы службы Минъюань не раз вспоминал наставления старого учителя о том, что истинная цель учёного-чиновника — не личное возвышение, а справедливое и рачительное управление вверенным ему народом; эту мысль он старался воплощать на деле, насколько позволяли обстоятельства и неизбежные ограничения чиновничьей иерархии: разбирал тяжбы крестьян с местными землевладельцами без оглядки на знатность истца, следил, чтобы сборщики налогов не превышали положенной меры, и в голодные годы настаивал перед вышестоящим начальством на открытии казённых амбаров для раздачи зерна нуждающимся, хотя подобная настойчивость не всегда встречала понимание у чиновников рангом выше, озабоченных прежде всего сохранностью казённых запасов.

Уйдя в отставку по возрасту, Минъюань вернулся доживать век в родной уезд, где построил на скопленные за службу средства просторный дом и считался одним из самых уважаемых людей города — тем самым учёным-чиновником, чьё имя некогда появилось в списке у дворцовых ворот и чья судьба служила примером для следующих поколений соседских маль-

чишек, которых родители понукали учиться прилежнее, указывая на пример Минъюаня. Он дожил до семидесяти с лишним лет, редкого по меркам эпохи долголетия, сохраняя до конца дней привычку к ежедневному чтению классических текстов, которые знал наизусть ещё с детства, но перечитывал снова и снова, находя в них, по собственным словам, новые смыслы с каждым прожитым десятилетием.

Умер он в собственном доме, окружённый детьми и внуками, от обычной старческой немощи, и похоронен был с теми почестями, какие полагались человеку его учёного ранга, — на похоронах, по обычаю, читали вслух отрывки из классических текстов и перечисляли должности, которые он занимал на государственной службе, а имя его занесли в местную уездную хронику как уроженца, прославившего свой город успешной сдачей высшего государственного экзамена, — честь, которой из всего уезда за это поколение удостоились лишь считаные единицы.

Соседи ещё долгие годы после его смерти указывали приезжим на дом, где он прожил старость, и пересказывали, уже порой с преувеличениями, историю бедного торговца, что при свете, отражённом от снега за окном, выучился грамоте настолько, что сравнялся с потомственной знатью, — история, которая в империи Сун была хоть и редкой, но не единственной, и именно такие истории, передаваемые из уст в уста по всей стране, год за годом заставляли тысячи других бедных мальчишек в далёких уездах садиться за книги в надежде на такую же удачу.

Изобретатель, экспериментирующий с ранним порохом

Чэнь Даоюань родился в провинциальном городке в центральном Китае в эпоху династии Тан, в семье потомственных травников и аптекарей, из поколения в поколение торговавших лечебными снадобьями на городском рынке и состоявших, помимо прочего, в даосской общине, почитавшей не только классические каноны учения о Дао, но и практику алхимии — поиск составов, способных продлить человеческую жизнь или даже даровать бессмертие. Отец его держал небольшую лавку, где продавал высушенные травы, минеральные порошки и готовые снадобья от обычных недугов, а по вечерам, закрыв лавку, уединялся в задней комнате с ретортами и тиглями, пытаясь, как и многие даосские адепты его времени, повторить легендарные рецепты бессмертия, о которых рассказывали древние трактаты.

Роды у матери Даоюаня принимала повитуха квартала, а имя мальчику выбрал сам отец, вложив в него пожелание постичь изначальный путь Дао — честолюбивая мечта для сына травника, но вполне в духе семьи, на протяжении нескольких поколений считавшей себя причастной к высокому алхимическому знанию, а не просто к ремеслу аптекарей. Семья жила в достатке, обычном для городских ремесленников средней руки: не бедствовала, но и не могла похвастаться роскошью, свойственной знатным домам или богатым купцам шёлкового пути.

С малых лет Даоюань помогал отцу в лавке: сортировал высушенные травы по видам, растирал минералы в ступке, взвешивал порции снадобий на небольших весах. Отец учил сына различать десятки видов трав по запаху и внешнему виду задолго до того, как мальчик научился читать их названия по-письменному, — навык, вырабатываемый годами практики и бесчисленных ошибок, за которые отец, впрочем, не бранил сына слишком строго, считая, что лучший учитель в этом деле — собственная память о неверно распознанном растении.

Грамоте Даоюаня обучал приходящий учитель, знакомивший мальчика с основами конфуцианского канона, обязательного для всякого образованного человека того времени, но куда больше отец заботился о том, чтобы сын читал даосские трактаты по алхимии и космологии, передававшиеся в их семье из поколения в поколение в виде потрёпанных свитков, переписанных ещё дедом и прадедом. Рацион детства включал рис, просо, овощи с огорода при доме, рыбу из протекавшей неподалёку реки, свинину по праздникам; матушка, помимо прочего, готовила для домашних особые отвары из трав, которые отец считал полезными для здоровья и долголетия детей, — ранняя, почти неосознанная практика того самого поиска снадобий бессмертия, которым предстояло заняться Даоюаню всерьёз в зрелые годы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.